

ПАЦАНЫ

Повесть о Ваших сыновьях



Алина Ефремова

**СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ**

18+

Алина Ефремова

**Пацаны. Повесть
о Ваших сыновьях**

«Автор»

2019

Ефремова А. С.

Пацаны. Повесть о Ваших сыновьях / А. С. Ефремова —
«Автор», 2019

«Пацаны. Повесть о Ваших сыновьях» — реалистический роман о поколении нулевых, это ода молодости, городу, Родине. Именно они являются объектами глубинных переживаний молодого человека, вернувшегося в столицу после долгой разлуки и попавшего в общество дворовых хулиганов. На страницах романа вы найдёте сцены употребления сигарет, алкоголя, наркотиков и ненормативную лексику. Всё это — лишь внешние атрибуты, призванные подчеркнуть, что внутренний мир каждого из нас — бездонный океан чувств.

© Ефремова А. С., 2019

© Автор, 2019

Алина Ефремова

Пацаны. Повесть о Ваших сыновьях

Возвращение цыплёнка

Дети из благополучных семей. Цыплятки, выращенные в инкубаторе безопасности и любви, не имеющем ничего общего с тем, что находится по ту сторону тёплых металлических стенок. Их суррогатный мирок, созданный чрезмерной опекой взрослых (читай: родительской любовью), как правило, трещит по швам, стоит чаду переступить порог отчего дома. Отчасти таким был и я. Дед – академик, родители – научные сотрудники. Грёбаная интеллигенция. Мать с отцом уехали в Великобританию, когда мне было 10 лет. Их пригласили на хорошие должности в исследовательский центр при университете графства Суссекс, и план был таков: сбегать меня собственным предкам до окончания средней школы, а после, в мои пятнадцать, устроить в местную частную школу, подготовив тем самым тёпленькое местечко на университетской скамье, дабы в дальнейшем я блистал на научном поприще.

Всё бы ничего, но, оказавшись среди бриттов, я (боже, это же было очевидно!) чувствовал себя изгоем. Вокруг не было никого, с кем можно нормально побазарить, не считая единственного русскоговорящего парня, полнейшего задрота, сына украинских дипломатов. Но и тот уже давно жил в Англии – потому не особенно отличался от местных. Нет, ну а что вы хотели? В 15 лет человек – уже сформировавшаяся личность, и менталитет, сложенный из мельчайших деталей окружающей его действительности, настолько глубоко въелся корнями в кору головного мозга, что изменить мировоззрение возможно только насильно выкорчевав то, что этот менталитет породил, а именно – доброе раскидистое дерево моральных принципов, поведения и понимания мироустройства.

Я заговорился, прошу меня извинить. Суть же в том, что общаться с местным населением было совершенно невозможно. Они были другие. И точка. И если два года старшей школы я сам ещё надеялся найти какие-то точки соприкосновения, месяц за месяцем, теряя надежду, то на первом курсе университета (далеко не самого лучшего в Британии), окончательно разочаровался в «американской мечте» (английская не сильно-то отличается. Сплошное бездумное «потреблядство») и с треском провалил сначала первый, а затем и второй семестр. Был оставлен на второй год. Но не остался.

Это, конечно, был удар для отца. «Мы так долго этого ждали!», «Мы сделали всё, чтобы ты мог здесь учиться, зацепиться и получить британское гражданство!», «Мы с мамой...!» Как сейчас помню его гневные речи. Он срывался на крик и брызгал слюной. Приводил доводы, стуча кулаком по столу, будто мог тем самым вбить их в мою голову. Но он не знал меня. Я был упрям и избалован. «Говно ваша Европа. Одни идиоты и пи**ры кругом», – сказал я на прощание, садясь в чёрный старенький кэб (ну не совсем так сказал, конечно, хоть и очень хотелось, и мучало теперь сожаление, что не хватило духу, и представлялась его реакция, скажи я это прямо в лицо).

Отец ничего не ответил, не пожал мне руку, не сказал ничего на прощание – так и остался стоять у входа в низенький побелённый домик с черепичной крышей, с северной стороны покрытой мхом.

Хмурия брови (от чего очки съехали на кончик носа) и скрестив руки на груди.

Улыбчивый таксист обернулся ко мне, обхватив рукой пассажирское кресло, чтобы сдать назад и выехать с придворовой территории.

– Не такое уж и говно, брат, – сказал он мне, улыбаясь ещё шире.

– Господи! И вы туда же! – буркнул я в ответ.

– Что тебе так не понравилось? – не успокаивался он.

– Всё, – отрезал я, и больше мы не разговаривали.

«Интересно, он действительно доволен тем, что работает здесь таксистом? На вид ему под полтос. Ну серьёзно? Хотя кто знает, откуда он приехал и когда...» – размышлял я, глядя на капли дождя, остервенело хлеставшие в стекло и размывающие пейзаж за ним. «Да ещё и погода тут – дерьмо полное!» – я с упоением подбирал сотни причин, доказывающих отцу, что моё решение правильно. И ужасно мучился сожалением, что не высказал их все, как обычно, растеряв слова в нужный момент.

Мне было девятнадцать, и я совершенно не знал, что будет дальше. От армии меня отмазали ещё в школе, поступление на этот год в российский вуз я пропустил, договориться за меня в МГУ было против принципов деда, и потому мы коллективно решили, что этот год я буду работать. «Заодно и жизнь посмотришь, расп**дй! Как в твоей любимой России классно жить на тридцать тысяч рублей в месяц». Отец ©.

Как сейчас помню то чувство, когда самолёт наконец бухнулся алюминиевым пузом на взлётную полосу, из моих ушей резко вылетели пробки, а с сердца свалился тяжёлый камень тоски: «Я дома. Наконец-то». И этим всё сказано. Три года лелеял этот момент в голове. Жёлтое такси. Приветливый, небритый водила азербайджанец и двухчасовая дорога через намертво вставший город (несмотря на послеполуденное летнее время), которая, впрочем, была мне приятна, словно прогулка по кромке моря. «Э-э-э, брат, знаю, тяжело душе вдали от родного дома», – сказал Баха и повёз меня через центр: Кремлёвскую набережную, Моховую и Сре-тенку (в тот момент я пребывал в таком романтическом настроении, что даже не допёр, что по трёшке ехать было бы на час быстрее и минимум на тысячу рублей дешевле. Ну да ладно, чёрт с ним, с Бахой!)

Родной двор... Не передать словами то первое ощущение. Знакомые, но позабытые образы рвали мою душу в клочья. В глаза бросались все детали, прежде невидимые за туманом привычки, потом и вовсе стёртые из памяти другими впечатлениями, а теперь словно вывалившиеся предо мною во всём своём многообразии. Безобразные старые девятиэтажки, столь отличные от пряничных английских домиков (но я-то знаю, как тепло в этих квартирках в русскую зимнюю стужу и как холодно в тех домах промозглыми английскими ночами). Поржавевшие балконы с серыми, невыкрашенными, гниющими рамами. Стены, залатанные многочисленными пёстрыми заплатками, не подходящими по цвету к тёмно-серой от старости мелкой плитке, облицовывающей бетонные блоки. Небо небрежно рассечено десятком проводов. Не газон, а бурьян за облупленным зелёным заборчиком. Косые бордюры. Только-только отцветшая сирень, томно свешивающаяся на тротуар так, что проходим приходилось обходить её по дороге.

Открыв рот, я стоял на параллельной моему дому дорожке и просто смотрел на всё это, вцепившись в ручку чемодана, в котором кроме пары летних футболок и шорт была пара джинсов и две пары кроссовок. Вот и весь багаж, привезённый из той жизни: пять кило вещей и тысяча вопросов. Стоял и смотрел на всю эту красоту, стараясь запечатлеть её в памяти такой, какой видел сейчас, давая обещания никогда не превращать в то, чем она была, когда я уезжал: убогим, осточертевшим пейзажем разрухи.

И этот запах. Давно позабытый запах родного двора. Стоило мне его почувствовать, как в голове взорвался красочный фейерверк детских воспоминаний. Сложный букет из сладкой акации, уже зрелой июньской зелени, вперемешку с запахами домашней еды, доносившимися то там, то тут из распахнутых окон квартир на нижних этажах. Несложные российские блюда: картошка, обжаренная с луком до чёрных корочек, тушёная капуста, мясо, гречка, котлеты и сосиски. Что-то подобное ждало меня и дома. Мысль об этом наполнила мой рот слюной, и я ускорил шаг по направлению к родному подъезду.

Как же много отдал бы я сейчас, чтобы вновь пережить тот чарующий момент. Ту чистую любовь.

Я нырнул под густые кроны на вытоптанную тысячей шагов тропинку, разрезающую прямоугольный двор по диагонали и выходящую прямо к моему подъезду. Еле протиснувшись меж запаркованных машин с чемоданом, я оказался перед тяжёлой металлической дверью. Вскинул голову, отыскивая родные окна. Набрал в лёгкие побольше воздуха, готовясь услышать скрипучий голос, который вот-вот на весь двор нараспев прокричит в домофон своё старомодное: «Вас слушают?»

«Как вчера было...» – в очередной раз повторил я про себя, прощаясь со стремительно несущимися перед глазами картинами прошлого.

Если смотреть на ветхий окраинный район, всё точно замерло во времени. Бермудский треугольник, стороны которого по касательной соприкасались с десятиполосным шоссе, огромным лесопарком (конца и края которому не было видно) и Московской кольцевой дорогой, возросшей высоко над пустырями на толстенных бетонных сваях, сплошь изрисованных яркими витиеватыми граффити и исписанных дворовой белибердой.

Однако, посмотри ты с высоты пройденной человеческой жизни, с позиции этого мимолётного, но чарующего путешествия из коляски в могилу, и увидишь, как менялось всё вокруг из года в год. Спроси я тогда у бабушки: «Что изменилось здесь?» – она бы рассказала о деревянных домиках, коровах, пасущихся вокруг нашей школы, об охотниках, приезжающих за кабанами и лисами, и о границах города, столь отдалённых когда-то от этого места, теперь полностью поглощённого разрастающимся мегаполисом.

Строились не просто дома, воздвигались целые районы, иной раз словно грыжи, вздувающиеся за пределами кольца. То, что было дремучим захолустьем, становилось престижным, облагораживалось и обрастало всеми атрибутами счастливого потребительства: торговыми центрами, ресторанами, кафе, питейными заведениями, детскими учреждениями, новыми игровыми площадками и яркими супермаркетами. Всё это буйство развивающейся экономики несильно было заметно в нашем северном районе, для которого время текло куда медленнее прочих.

Что же касается нашего района, за последние десять лет убрали рынок, появился торговый центр в паре остановок от нас да новые игровые площадки у детских садов, выстроенных в рядок ещё в семидесятых годах. Кроме этого, из изменений – лишь деревья становились всё выше, с каждым годом всё больше перекрывая вид на двор из нашего окна на седьмом этаже. И в постоянстве этом творилось безумство человеческой судьбы, закручивающейся волчком на поворотах и разбивающейся о безликий монолит обстоятельств.

Жизнь скоротечна, и потому особенно полно сладости то время, когда всё ещё впереди. В ту минуту я стоял на пороге своего дома, но казалось, что стоял на пороге своего будущего, жадно впитывая каждый момент, стараясь запомнить начало своего пути таким, каким оно могло быть только тогда – полным чарующей неизвестности.

* * *

Бабуля встретила не слишком приятными, но столь милыми сердцу влажными поцелуями и удушающим объятием. Дед, по своему обыкновению, строгий и сдержанный в любых проявлениях чувств, крепко пожал мне руку и, впервые не выдержав дистанцию, притянул к себе, приобняв и похлопав по плечу свободной рукой. На плите стояла незамысловатая стряпня, по которой я так соскучился, что смёл почти всю сковородку за раз, запивая компотом и заедая простым, душистым, чёрным хлебом. Мы сидели за столом до поздней ночи, и я говорил всё то, что таилось на сердце для этого, особенного момента. То, что не должно было быть сказано невзначай, по скайпу или телефону. То, что хранилось для личной встречи, глаза в глаза, из уст в уста. Самым любимым людям – самые искренние слова. В тот момент я понял, как сильно соскучился по своим старикам.

Никто не ждал от меня мгновенных действий, да и я не спешил. В первую неделю я обзвонил всех своих старых приятелей и с самого утра до позднего вечера со всеми встречался,

чтобы рассказать то, что обычно рассказывают в таких случаях. Ни о чём и обо всём. Никто не изменился, но все так поменялись. Мы по-прежнему были близки, но так друг от друга отделились. На сердце от всех этих встреч было тепло, но каждый раз я смутно чувствовал разочарование.

Уехав, я вроде как переступил границы, которыми до сих пор был очерчен их мир. Границы их повседневности. Всё те же люди и те же дела: они учились в универе, играли в компьютер, гоняли в футбол, ни фига, по большому счёту, не делали, шатались по дворам до ночи, встречались с какими-то девчонками... В общем, им не особо было что рассказать. А вот мне было, и я рассказывал, и они слушали, и вроде бы всё было так сердечно, но заканчивалось ощущением того, что в следующую встречу нам совершенно не о чем будет говорить.

Первые несколько недель дома слились сейчас в одну мутную картинку и потеряли всякое значение. Ведь значение имел только лишь один день в середине июня, кажется, то была среда. Стояла страшная жара, мы с моим старым приятелем сидели на крыльце нашей школы, закрытой на лето, и тёрли лясы с охранником Толей, бывшим военным, прошедшим Афган, – контуженным, но очень добрым бухариком, по словам которого невозможно было понять, правда ли он нас помнит все эти годы или прикидывается.

Дядь Толя был вусмерть пьяный, травил какие-то байки, мы посмеивались, и вдруг я увидел на спортивной площадке Ваню, подтягивающегося на брусьях. Ваню – друг моего детства. Жил в соседнем подъезде, мамки наши сдружились ещё беременными, отдали нас в один детский сад, а потом и в начальную школу. После четвёртого класса Ваня перешёл в соседнюю школу, и дружба наша на этом вроде как и закончилась, но мы всегда останавливались побазарить, встретившись где-нибудь во дворах, и пару-тройку раз я гулял с ним и его друзьями.

Если честно, в последние годы о жизни Вани Ермакова я знал больше от мамы и бабушки. Из их рассказов следовало, что приятель попал в дурную компанию, бухал, курил, прогуливал уроки, и вообще «хорошо, что мы тогда не ушли в восьмьсот пятидесятью, а остались в нашей, ставшей впоследствии гимназией». Я всегда слушал эти истории и в душе дико ему завидовал, потому что походу он жил той жизнью рас**здая, о которой мечтает каждый парнишка, но жить которой не у всякого хватает смелости и наглости. Я всегда был цыплёнком. А он с самого детства – орлом.

– Ваню?! – окрикнул его я

– А-а-а, братан, ты, что ли?! Здорово! – издали закричал Ваню, перекинул майку через плечо и направился к нам своей смешной, извечно бодрой, слегка прыгучей походкой. – Ты чё, вернулся? Мамка говорила, ты теперь «сэр», – начал он в своей обычной, шутиливой манере. Он со всеми разговаривал так, словно был на короткой ноге, вне зависимости от степени близости или возраста. – Чегой-то уже пять тридцать, а ты ещё не за чашечкой чая? – гримасничал Ваня, посмотрев на голое запястье так, как будто там были часы.

– Ха-ха-ха, хорош, Вань. Ты как? – что ещё можно было спросить у друга, которого не видел года четыре точно.

– Да я-то норм, ты как? Какими судьбами? – плюхнулся он рядом на ступеньку и достал из заднего кармана пачку «Кента».

Я кратко рассказал ему свою историю, он поржал надо мною, заявил, что я лох, похвастался, что ничего не делает, и предложил завтра пересечься «потусить с его пацанами». Я покосился на своего приятеля, скромно молчавшего весь разговор (я давно уже хотел избавиться от общества этого нудного очкарика), посмотрел на Ваню и согласился, забив на манеры.

С этого-то всё и началось. Делая шаг, мы никогда не знаем, какая дорога уготована нам для следующего. Наш путь – это мелодия для танца жизни с выбором, судьбой и случайностью. Оглядываясь назад, я часто прокручиваю этот день в голове и думаю, что судьба каждого из нас складывается из таких вот незначительных мелочей. В тот день я не сделал выбор в пользу своего приятеля, таскавшегося за мной с момента моего приезда. Я сделал выбор в пользу

Вани, с которым мы совершенно случайно встретились, а встретиться мы в любом другом месте, в любое другое время, торопясь по своим делам, или в компании других людей, то этой истории бы не случилось.

Да и так ли она важна, чтобы рассказывать её уважаемому Читателю? Не уверен. Но воспоминания о тех временах зачаровывают и увлекают меня в беззаботные дни юности, которые отчаянно хочется сохранить для грядущего забвения старости.

Триумф воли

На следующий же день я набрал Ваню, почему-то волнуясь, что он не сможет или не захочет встретиться. Он взял трубку сразу же, через час мы уже встретились, дошли до двух шестнадцатиэтажных «свечек» на самом отшибе района и свернули в лес.

Ваня – высокий, крепкий, синеглазый блондин. Лицо его имело крупные черты и всё было испещрено свежими прыщами и ямками, оставленными старыми, но видно было, что его это совершенно не напрягает. В жизни его вообще ничего особо не напрягало. Вся суть его была в нескончаемом потоке добрых шуток и весёлых рассказов о приключениях, в которые он попадает, и о своих многочисленных знакомых.

Ваня. Это имя, как никакое другое, отображало суть его простой, открытой души. Рубаха-парень. Единственный любимый сын, любимчик всех учителей, девочек, одноклассников, местных пацанов – все смотрели ему в рот. Он располагал к себе с первой минуты, никогда не навязывался, всегда был наравне с собеседником, но, что больше всего нравилось, любил не только говорить, но и слушать, причём внимательно и с неподдельным интересом.

Зайдя в лес, мы свернули с главной дорожки на тропинку, потом на другую, и ещё, и ещё – я не особо следил за дорогой, немного запутавшись с непривычки (а ведь когда-то я знал все тропинки на зубок и мог бы выбраться из любой части леса с закрытыми глазами). Минут через десять мы свернули в заросли кустарника, прорежённого в одном месте узкой тропкой, скрытой густой тенью, и оказались на залитой жарким июньским солнцем полянке, на противоположном краю которой, вокруг поваленного дерева, толпилось человек восемь: кто на этом бревне сидел, кто стоял рядом, все галдели, громко ржали, курили сигареты, плевались и матерились. Гомон их заполнял всё пространство полянки, за пределами которой сливался с шумом летнего леса. Ваню представил меня всем и всех мне.

– Саша, – первым протянул руку низенький чернявый парень, с глубоко посаженными глазами, тяжёлым пронизывающим взглядом и чёрной густой бородой, делающей его так сильно похожим на чеченца, что если бы не имя, я бы точно так и подумал.

Несмотря на свой рост, он сутулился, словно стараясь показать, что этот недостаток (недостаток ли?) совершенно его не волнует. Саша казался старше всех, но, как потом оказалось, был младше всех на целый год. Пацаны называли его «хохол», или просто Саня.

– Захар, – представил Ваню парня, которого я и без того знал, они были одноклассниками.

Мы нередко пересекались на районе. Пару раз я бывал в его компании. Захар мне никогда не нравился. Он всегда говорил и смеялся громче всех. Всегда надо всеми подтрунивал, и всегда это выходило как-то так, что смеяться не хотелось, но видно было, что все смеялись, чтобы не стать его следующей мишенью. От этого становилось ещё гаже. Он на всех смотрел немного свысока, рисовался, особенно перед девочками, но если вдруг вы были наедине или рядом был Ваня – он вроде как держался на равных и казался даже таким душевным парнем, что ты сразу забывал о другой его стороне.

– Лёха, – представился худощавый паренёк с насмешливым взглядом.

Он больше всех плевался (скорее всего что-то нервное), постоянно паясничал: странная, деланная интонация, сплошной малопонятный жаргон, одни и те же шутки-присказки, которые даже мне успели надоеть (за первый час общения).

Всех остальных Ваню перечислил быстро, особо не заостряя внимания. Кто пожимал руку, кто просто салютовал.

– Захар, ну чего там у тебя? – спросил Ваню и, повернувшись ко мне, добавил: – Курить будешь?

– Курить?

– Ну да, дуть! – со смехом ответил он. – Слышите, пацаны, я вам говорил, он даже не знает русского языка толком!))) – и приободряюще ткнул меня локтем в плечо, подмигнул. – Гашиш, в смысле.

Я замялся. Рассчитывал-то максимум на пиво. С одной стороны, не хотелось выглядеть каким-то лошком, с другой – если бы я согласился, совершенно не зная, как это делается, выглядел бы ещё хуже.

– Ты куришь? – спросил тот самый Саша, похожий на чеченца.

– Эм... нет.

– Красава! – усмехнулся он. – Ну чё, Захар, лепи тогда. Сколько там у тебя? Каждому по две найдётся?

Захар достал из кармана маленький комочек фольги, аккуратно раскрыл его, подогрел зажигалкой и начал отковыривать небольшие козявочки. Саня их снова нагревал, прижимал зажигалкой к месту на бревне, где давным-давно не было коры, но зато были десятки вырезанных ножами и нарисованных маркерами надписей: какие-то имена, фразы, свастики, славянские символы и матерные слова. Послание поколения.

Процесс длился где-то минут десять. На поляне воцарилась тишина, все парни замерли, смолкли, глаза их горели предвкушением. Разве что слюна не текла. Лёха достал откуда-то из-под бревна засмолённую у горлышка пластиковую бутылку с дырочкой, проделанной сигаретой у самого дна, и пацаны начали курить. Я смотрел на их ловкие движения, приоткрыв рот, и не знал, куда себя деть от чувства неловкости и стыда. Они же, в свою очередь, не обращали на меня совершенно никакого внимания. Плюшки тлели на сигарете, парни покругу вдыхали дым, стараясь задержать его в лёгких.

– Во-о-о, вот теперь нормальный день! – сказал кто-то из них, выпустив дым.

– Нормально расслабило, Зах, это еврик?

– Да х*р его знает, сейчас всё что ни гар – всё еврик, – пожал тот плечами в ответ.

Глаза их наливались кровью, взгляд стал уставшим. Кто покашливал, кто сплёвывал, а кто просто глупо улыбался, глядя в одну точку. Когда количество чёрных точек заметно сократилось, Захар внимательно посмотрел на меня и спросил:

– Точно не будешь?

– Да не... с-спасибо...

– Без базара))) – сказал он и разделил оставшиеся точки между теми, кому они предназначались.

Я как-то по-другому себе это представлял. Думал, что сейчас вот пройдёт минут десять и начнётся какое-то безумие: они будут либо кататься по земле, либо ржать как ненормальные. Или будет что-то вообще такое, что сложно даже представить. Но вместо этого Ваню сладко потянулся и обратился ко всем: «Ну чё, пацаны, го за пивом?»

Каменные джунгли дышали жаром, как только мы оставили за спиной свежую прохладу леса. Взяли по пиву в ближайшем магазинчике и, как грачи на проводах, расселись на площадке одного из дворов, вокруг убитых пинг-понговых столов. Кто-то даже достал ракетки и мячик, и началась шумная игра на вылет, в то время как не играющие потягивали пиво, о чём-то болтали, обсуждали какие-то местные истории, постоянно подкалывая друг друга. Ощущение было такое, что мы знакомы сто лет: дружелюбные шутки в мою сторону, расспросы про Англию – парни с интересом слушали, интересовались, громко обсуждали сказанное, не упуская случая в очередной раз приколоться что я не местный, аристократ, пью чай и курю сигары (и далее по списку классических предрассудков).

Потом разговор перетёк в другое русло, и зашла речь о случае, произошедшем, как я понял, накануне. Какой-то Олег зарядил Заху денег, чтобы вымутить через него кусок. Заха с этими деньгами «растворился в ночи», Олег весь вечер и всю ночь ему трезвонил, на следующий день собрал своих пацанов искать Заху по всей округе, но когда компании друг на друга наткнулись, получилось так, что Олег с друзьями ещё и по полной отхватил от пацанов.

– Слушай, Вань, – спросил я позже вечером, когда все разошлись, устав от бесцельного брожения туда-сюда по району, и мы с Ванюшкой направились в сторону нашего дома, – а чё за история была с тем Олегом?

– Ты про что?

– Ну, все так поддерживали Захара, хотя онне очень-то прав. Он же кинул этого Олега, а потом его и его ребзей ещё и отп***или... Нет, не подумай, – сразу начал оправдываться я, увидев насмешку на Ванином лице, – я не какой-то там моралист, просто интересно, что за история.

– Да, история была, пф-ф, – Ваня пренебрежительно махнул рукой. – Он всё правильно сделал! Олег – крыса. В этот конкретный раз он огрёл за прошлую неделю, когда он кинул Дэнчика (одного из присутствующих на поляне пацанов, лицо которого не слишком мне запомнилось).

– А что случилось?

– Не могли мы вымутить кусок. На ранчо сухо было третий день, все уже воют.

– Ранчо?

– Ха, ну это между нами район так зовётся.

– А-а-а, понятно...

– Ну, короче, не можем мы намутить, и тут проходит слушок, что у Олега есть куски. Олег – один паря с ранчо, мы с ними не в прямых контрах, но не очень общаемся, понял, с его шоблой. Они из твоей школы, кстати, ты их, наверное, знаешь даже. Ну, короче, у нас норм отношения, можем тусануть иногда даже... Не суть, слушай дальше. Дэнчик наш норм с ними общается, в том числе с Олежкой. Звонит ему, значит, встречаются, приносит: а там ноль пять, ей-богу.

– Ноль пять?

– Блин, ну ты вообще. Ну да, полка, короче. Половина грамма, понял? Мы Дэнчику денег-то скинули, говорим, типа, какого х***? А он говорит: «Ну, Олег сказал – это всё, что есть». Проходит два часа, мы остаёмся с Захой и Саней втроём, встречаем Жеку старшого. Слово за слово, он предлагает нам покурить, мы стоим на бревне, он достаёт нормальный такой кусер. Я его спрашиваю: «Жэк, сухо же, у тебя откуда?» А он и говорит: «У Олега взял 10 минут назад». Ну бля, так не делается, понимаешь? Это не по-братски. Хотя они нам не братья, конечно, но я сказал уже, что мы в нормальных отношениях. Если вдруг какие-то рамсы на них пошли, мы впрягаемся. Олег всегда с нами типа «брат», «брат». А потом так. Ну понятно, конечно, Жека – старшой, он зассал. Но на своих деньги не делают, понимаешь? Мы же не лохи какие-то. Ну это ладно. Это только на той неделе. У самого Захи с Олегом тёрка личная. Тоже было тут, пару недель назад. Олег же не с нами тусуется иногда. Хотя его шобла – типа наши конкуренты, ха-ха. Ну, как конкуренты, короче, параллельная туса. Не суть. В общем, Олег там всем рассказывал, как круто он кинул Захара. Типа Захар зарядил ему бабла за десятку, ну типа оптом, – вновь пояснил он, уловив мой вопросительный взгляд, – а Олег потом ему сказал, что его чувак на бабло кинул. И типа он не при делах. Ну пофиг, такое бывает, реально. Но! потом он своим пацанам затирал, типа, пойдёмте, я вас набухаю, я Заху кинул на четыре кэса, прикинь? Ну не му*ак ли? Олег! Захара! Да тот его в землю втопчет. В общем, по делу и Олег отхватил пи**ы, и его чувачки тоже. Такие вот истории... Ты чего загруился так? – Ванюшка со всей дури хлопнул меня по спине. – На ранчо это норма. Тут вечно такие мутки. Сейчас мы в контрах, а через неделю вместе бухать будем.

– Да? Типа все помиряется?

– Да нет. Нет такого прямо – «война и мир» ха-ха-ха. Дело не в этом. Просто, если ты говно сделал – должен заплатить. Сам подумай, если бы все друг другу всё припоминали, то никто бы не общался. Вообще! Понимаешь?))) Люди ж все из одного говна сделаны. Бывает... – Ваня развёл руками.–Ладно, братка, я домой. На созвоне завтра! – весело заключил Ваню, пожал мне руку, и чуть вприпрыжку направился в сторону своего подъезда. Я как дурак стоял, улыбался и смотрел ему вслед. Не знаю почему, но тогда мне очень радостно было от мысли, что он сказал «завтра», а значит, завтра я снова пойду с ними гулять.

Ранчо... Я весь вечер ржал, вспоминая это слово. Ковбои чёртовы))). Мне не давала покоя история с Олегом, я всё прокручивал в голове Ванин рассказ, ковыряя за столом бабушкин суп с сосисками. Человек кидает тебя раз, другой, третий, а ты продолжаешь общаться с ним. Зачем? Пережиток советского общества? Коммуна, община? Брат за брата? «Они живут по доисторическим принципам», – размышлял я.

Там, где я «дозревал» как личность, царствовал индивидуализм. Человек – индивид; его свобода, его достижения, его личная выгода – вот что имело ценность. Там есть жизненный набор, позволяющий дышать ровно: частная собственность, свобода слова и вероисповедания, безопасность, радость потребления – всё это обеспечено мощной защитой государственного аппарата, стеной стоящего за спиной человека. Тут же, дома, государство никогда не стояло на стороне личности, а скорее – ей противопоставлялось, и потому человек искал другую опору. Для выживания необходима была сплочённость. Общинный строй давал пацанам чувство защищённости.

«Ну мы же не бабы, – говорили они, – чтобы поссориться из-за какой-то фигни на всю жизнь. Брат есть брат. Братские отношения превыше жизненной мишуры!» Нерушимый идеал не кровного родства. Случись что Олегом, вроде как и не «братом», но парнем с твоей территории, то все пацаны пошли бы не задумываясь за него. Пусть вчера сами его били. «Каменный век, ей-богу!» – думал я тогда, не отдавая себе отчёта в том, что это нравится мне на каком-то очень глубоком, подсознательном уровне, на котором я определял себя не как личность, а как мужчина – участник стаи самцов, грезящий стать вожаком.

* * *

Моё противостояние продлилось недолго. На следующий же день я впервые накурился. Первые минуты на меня будто упала бетонная глыба. Потом ощущения стали растягиваться как приторный детский «Орбит», стремительно теряющий вкус и твердеющий от слюны. Время замедлилось. Секунды обернулись минутами. Звуки стали громче. Мельчайшее дуновение ветерка оставляло рябь по всему телу. В словах говоривших я слышал то, что в обычном состоянии невозможно уловить: их истинные намерения, заключённые в малейших переменах интонации, мимики и взглядов. Мысли путались и цеплялись одна за другую, уводя меня вглубь совершенно безумных размышлений.

Я плохо помню обстоятельства, при которых это случилось, но помню, что потом мы пошли в пустеющий во время летних каникул сквер университета, недалеко от моего дома.

Я был абсолютно потерян, пацаны подтрунивали надо мной, но я не мог не то что ответить, а даже толком разобрать, что они говорили. В ушах звенело. Всё происходившее вокруг обретало огромное значение: каждый жест, каждое слово, каждый наш шаг сопровождалось сотнями моих мыслей. Точно я прозрел, получив наконец возможность увидеть действительность под другим углом, и угол этот раскрывал мельчайшие детали реальности, которые раньше я бы даже и не заметил.

Солнце, заигрывающее с ветром, путалось в молодой июньской листве, и мысль об этом приводила меня в восторг. Я видел, как старые бетонные плитки, которыми была вымощена территория сквера, местами потрескались, раскололись или вовсе отсутствовали. Через

несколько лет на их место ляжет замысловатый узор гранита, скрывающий в своих тонких щелях миллионы ушедших в небытие рублей, но тогда лежал битый бетон, и его несовершенство очаровывало меня. Неаккуратно растущая трава придавала скверу заброшенный вид, уносящий в размышления о времени, что властно над всем: над архитектурой, над державами, империями. Над знанием. Над жизнью.

Такой непричёсанный парк. Дикорастущие пучки травы промеж кладки и бордюрных плит. Некошенный бурьян под высокими тополями, пух – вездесущая пыль – сбился в комки на стыке бордюрных плит с землёй. Шум шоссе, наполнявший сквер, переливался через высокую ограду и путался в кустарнике. Тёплое вечернее июньское солнце. Всё это было так красиво. Я не мог найти слов. Я думал о том, что никогда ничего подобного не увидел бы в вылизанной Англии, где в каждом метре ощущается присутствие человека, уничтожившее настоящее течение жизни, необузданность природы и неотвратимость времени.

Мы посидели, потупили, пошли за пивом, пацаны взяли мне две бутылки, я начал жадно глотать холодный хмель и наконец почувствовал, как потихоньку разваливается навалившаяся бетонная глыба. Меня отпускало. Я возвращался в сознание, получая власть над своими разбегающимися мыслями. Пацаны по-прежнему стебались надо мной, но в их подколах чувствовалась зависть к тому, что я впервые испытывал эти ощущения. Их же только «поправило», как они выражались. «Ну вот и поправило», – произносил всякий, выдохнув остатки сизого дыма из лёгких.

– Америкос, пойдёшь рисовать? – спросил Захар.

– Чего? – не понял я.

– Чего, чего... Рисовать.

– В смысле – рисовать? Чего рисовать?

– Бля, ну ты в натуре тупой, пи***ц. Акварелью ё*т! – затыкнул он.

Заха был человеком, самоутверждающимся за счёт других. Такому человеку, как он, только покажи слабое место – сразу вцепится. Для битья он всегда выбирал кого-то слабее (или умнее). Того, кто не станет ему возражать. И никогда не выбирал тех, кто мог бы быть ему полезен (причём смотрел он на сто шагов вперёд). С «полезным» человеком он сблизался, долго его окучивал, братался, быстро входил в круг близких людей и с такой же лёгкостью выкидывал человека после использования, скатываясь на откровенную грубость, высокомерие и вечные неприятные подстёбки (он всегда был чрезмерно груб, но не терпел грубости в свой адрес). В итоге «жертва» сама от него отворачивалась, а Заха на публике лишь пожимал плечами, безразлично сообщая: «Да чегой-то он сливается».

Почти каждый из тусы ни по одному разу прошёл по кругу от Захиной милости в немилость и обратно. Захар виртуозно жонглировал понятием «друг» и «брат», руководствуясь лишь своей, жадной до наживы, логикой. Многие пацаны робели и искали его снисхождения, никогда не говоря ему ни слова против, отмалчивались, вынося всё безропотно, ожидали перемены Захиного настроения. А настроение его требовало вымещать на ком-то агрессию, из-за чего он раз за разом находил очередного козла отпущения, пару недель делал его жизнь крайне неприятной, а потом подпускал к себе, чему тот и был несказанно рад.

Ко мне же Захар с самого начала нашего знакомства (и почему-то неизменно) был благосклонен. Во-первых, он не знал, чего от меня ожидать. Во-вторых, я только приехал из Британии, а значит был потенциальным источником бабла и полезных знакомств. В-третьих, он знал, что в ближайшее время я буду центром всех событий, и он, привыкший быть в центре внимания, не мог позволить себе оставаться в тени. В-четвёртых, меня привёл Ваню, а Ваню был один из немногих, с кем Заха никогда не борзела. Ваню и Саша. С Сашей всё было ясно – он был морально сильнее Захи, и потому они не притязали, но всегда чувствовалось Захино уважение. К тому же – Саня всегда был при бабле, а перед такими людьми Заха попро-

сту лебезил. А Ваню... Да Ваню просто был человек такой доброй и открытой души, что даже у Захара никогда не находилось слов на него наехать.

Я так кудряво рассказываю о нём, будто всё это было ясно, как белый день. На деле же, мне потребовалось время, чтобы разгадать его натуру. Заха был хитрым. Прекрасным актёром. Искусен во вранье и притворстве. Лесть была ещё большим оружием, чем моральное давление. И, чтобы услышать эту лесть, которая была пряником после кнута, многие сами набивались к нему в друзья.

Мне, слава богу, не пришлось. Несмотря на то, что я просёк Захину натуру и в принципе готов был с ней бороться, в душе я всё-таки стряхивал со лба пот облегчения, радуясь, что не слышу его нападок. «Бомбить, братан, – дружественно сказал Ваню, хлопнув меня по плечу, – граффитосы рисовать»...

В эту ночь моя жизнь вновь перевернулась с ног на голову. Любому мальчику, юноше, мужчине нужно быть частью стаи. Бывают и одиночки, но таких мало. Мы хотим принадлежать узкому сообществу, бороться за положение в нём, грезим стать вожаками и повести сообщество своею дорогой. Это у нас в крови. Иногда мужчина находится не в волчьей стае, а в стаде овец. Бывает, он жаждет принадлежности, но нигде не находит себе места. Так было со мной.

В школе я был слишком умён, чтобы общаться с хулиганами, которые казались мне тогда откровенно тупыми, и слишком горяч кровью, чтобы довольствоваться обществом зубрил, не видящих ничего дальше монитора. Духу быть одиночкой у меня не хватало, поэтому все школьные годы я чувствовал себя потеряннным.

В ту ночь меня посвятили в стаю. И я ликовал. Душа моя делала тройное сальто-мортале от радости при мысли о том, что я нашёл своё место. Как сейчас помню: вбежал я на свой седьмой этаж, проскакывая по три ступеньки одним шагом, остановился как вкопанный, на пятом пролёте, уставившись на солнце, поднявшееся над панельками, сам себе улыбнулся, преодолел ещё один пролёт и трясущимися от радости руками еле попал ключом в замочную скважину. А потом долго не мог заснуть, вертелся в кровати, смакуя воспоминания о прошедшем дне.

Мы договорились встретиться после заката в «нашей беседке». Большой деревянной шестиугольной беседке стоявшей на отшибе леса – где заканчивается жилой массив и начинается институтский сквер. Чуть поодаль от пешеходной дорожки она стояла, спрятанная в тени деревьев, овитая диким виноградом, такая наша и такая уютная: со скамейками по периметру и удобным столиком для карт и выпивки по центру.

Ваню зашёл за мной, привёл на место встречи. Он был одет в чёрный спортивный костюм и чёрные кроссовки. В руках держал чёрный пакет из плотного полиэтилена с узором из косых тонких золотистых полосок. «Чего это у тебя?», – кивнул я. «Краски», – коротко и по-заговорщически тихо ответил Ваня.

Ваню был не просто главным, но, по сути, единственным райтером, втянувшим в своё ремесло всех наших пацанов. То, что остальные и рядом не стояли, мне стало понятно в первую же ночь, но Ваня будто совершенно этого не замечал, стараясь привлечь всех в дело или помочь тем, кто неумело рисовал рядом с ним. Он был настоящим уличным художником, делал всё ловко, быстро, видно было, что имел набитую руку и своё видение. Оказалось, что состоит в какой-то продвинутой граффити-команде, но своих родных ребят не забывает.

«У меня одна стеночка на примете, – сказал он пацанам, – перекрыть Фарму надо. Это в трёх остановках отсюда». Мы сели на один из последних автобусов, совершенно пустой, ехавший в сторону центра, чтобы забрать у метро последнюю партию уставших горожан, развернуться и развести их по району, тянущемуся вдоль шоссе до самой столичной границы.

Вышли на освещённую высокими фонарями обочину и скрылись в тени дворов, огибая безликие многоэтажки, плотно запаркованные машины, тёмно-зелёные навесы над мусорными

баками и ограды детский площадок, пока не упёрлись в свежее выкрашенный белой краской куб трансформаторной будки. На одном из его боков красовалось явно недавнее, яркое граффити.

– Это не наш район, – сказал мне тихо Ваня, – но, видишь, тут свеженький кусок Формеса. Этот чувак приезжает к нам на район и перекрывает все мои куски. Настал и его черёд!))

– А кто этот Формес? – спросил я.

– Да в том-то и дело, брат, что мы не знаем. Но как встретим, набьём морду однозначно.

– Вообще, – вклинился в наш шёпот Заха, – на этом районе училась бывшая тёлочка Дэнчика. Так вот есть подозрения, что это её старший брат. По крайней мере – они единственные местные, кто тусует на нашем районе.

– Ладно, хорош языком чесать, давайте по-бырику.

Ваня единолично закрасил имя Формеса своим псевдонимом, разобрать который было довольно сложно. Часть пацанов стояла на стрёме по обеим сторонам дороги, часть молча наблюдала. После того, как он закончил, пацаны налетели на пакет, похватили баллоны и начали рисовать на прилегающей стене куба свои клички и какие-то надписи. Не слишком умело. Видно было, что линии контура дрожали, рисунки к концу суживались или, наоборот, становились слишком большими. Цвета не сочетались. В общем, их работы выглядели очень неуверенно, но они были в полном восторге от процесса.

Закончив, мы двинули в сторону остановки, по пути пацаны оставляли маркерами замысловатые каракули, объясняя мне суть своих «творческих псевдонимов». Габо, Бизе, Мелкий, Бездарь, Саунд – чего только не выдумали они. Вернувшись на район, мы пошли к школе, где я тогда встретил Ваню, перелезли через забор и начали «заливать» школьную стену, но через несколько минут послышался вопль, и мы увидели приближающийся силуэт дяди Толи, бегущего к нам. В высоко поднятой руке он держал какую-то ровную палку (видать, черенок от швабры), его качало из одной стороны дороги в другую, так пьян он был, но мы всё равно бросились бежать (больше из уважения к его персоне), громко смеясь. Прыжок – и я на заборе. Прыжок – я уже на дороге. Два прыжка – и я в черноте леса. Ловкость никогда не была моим вторым именем, и я безумно гордился собой за откуда-то появившуюся прыть.

Вано успокоился лишь спустя несколько дней, когда ему удалось ближе к ночи выцепить охранника на крыльце и набухать его пузырьком водки, припрятанным в тот же пакет с золотыми полосками, где были краски. Когда охранник засопел на кушетке (пацаны буквально на руках сами отнесли его в каптёрку), мы быстренько закончили начатое.

– Блин, а вы не думаете, что охранник поймёт, кто нарисовал? – спросил я.

– Кто, Толик? Не смеши! Он каждый раз нас как впервые видит. Мало того, что он контуженный, так ещё и пропил весь мозг, не соображает ничего. Забей, брат, даже если и поймёт, что он сделает? Где доказательства?

– А камеры, Вань?

– Да мы когда пошли его относить, выключили всё. Так что всё схвачено)))

– Ого, да это целая операция)))

– Ну так, конечно! – Ваня хлопнул меня по плечу. – Ты вообще не представляешь, чего мы проворачивали. Это так, понты, мы и на крыши забирались в самом центре Москвы, и на объекты охраняемые, и прямо на Садовом на мостах куски заливали.

– С пацанами?

– Не, не с нашими. Там, с корешами моими, с которыми я рисую. У нас типа команда. И, кстати, довольно известная в кругах граффити! – он с усмешкой поднял брови и пожал плечами, словно извиняясь за хвастовство. – С пацанами я так, на местности рисую. Тренируюсь, так сказать. Хочу приобщить их к культуре. Это ведь культура целая, понимаешь? Со своими фишками и правилами. Например, самое почётное – это рисовать напанельках («поездах» – пояснил он сразу, увидев мой озадаченный взгляд), ну и вообще – чем сложнее объект, тем ты круче. Я всё хочу пацанов подбить забраться в местное депо. Это уже уровень, понимаешь?

Так мы и дошли до дома под его вдохновлённую болтовню о граффити.

Подружки

«Это Ася, Марго, Дима», – поочерёдно представил мне Ваню только подошедших к бревну ребят. «О, вот это уже интересно», – подумалось мне.

– Понимаете, херня в том, что они вроде как бабы, а вроде как друзья. То есть с ними вообще не варик. Обидно даже! – заливал мне позже вечером Дима, когда вся компания, а час без дела проштатавшись по ранчо, оказалась наконец на школьном стадионе, освещённом высокими яркими прожекторами.

– Ага, друзья с пё**ами, – поддержал Захар.

– А вы тогда подруги с х**ми, – со смехом ответила Ася.

– Ой, от вас много толку! – вскинула бровь Марго. Тоже мне, женихи, как с козла молока!

– А чем мы тебе не женихи? – встрял в разговор Саня.

– Тем, что вы придурки.

– И чего же ты тогда с нами тусишь?

– Хз...вы угарчики, – пожал плечами Марго, они с Асей переглянулись и громко заржали чему-то, одним им известному.

Ася и Марго. Вспоминаю о них, и на сердце моём расцветает весна. Весной в Москве всё звенит: капли о жестяной козырёк, тонкие извилистые ручейки талой воды. Цепь, заземляющая троллейбус, отходящий от остановки, бьётся переливом о наконец подсохший асфальт, а не смесь талого снега и грязи. Звон смеха наших девчонок.

Во всех районных тусовочках были бабы, но наши – самые красивые. Не чета нам. Поступили в приличные универы, у обеих обеспеченные родители, и главное – никому из нас не давали. Районные девки – все либо пацанки, либо давалки, а Ася и Марго – недостижимый идеал, непонятно за какие такие заслуги оказавшийся рядом с нами. Сами они говорили, что так, как с пацанами, весело им не было ни с кем. «Вы просто угары!» – восклицала Марго, заливаясь смехом над очередными нелепыми историями, которые случались с завидным постоянством.

С расцветающей весной районная жизнь закипала пуще прежнего, и девочки всё чаще тусовались с пацанами, предпочитая их общество и простор дворов прокуренным клубам и заутреням в ресторанах, набивших оскомину за долгую зиму.

В ресторан их везли мужики, жаждущие свежей плоти да горячего супа (непонятно, чего больше хочется в пьяное утро, но очевидно, что если бы первого, повезли бы явно не в ресторан). Ася с Марго с радостью составляли им компанию, весело щебеча всё утро, располагая кавалеров непринуждённостью, присущей только самому юному, наивному возрасту, а потом бочком сливались, пока официант не принёс счёт, и кавалеры, наевшись жиренького и горяченького, не перешли бы к требованиям расплатиться за веселье. Натурой, как водится.

Далее: до дома на попутках (не было же тогда денег на столь доступное теперь такси), продолжение тусы на какой-нибудь хате, где зависали пацаны, и возвращение домой за полдень.

– Ну, как переночевали у Аси?

– Хорошо, мам.

В компанию их привёл Димас, самый закадычный друган Ваню. Мне он никогда особо не нравился: смазливое личико, фраерская причёсочка, начищенные до блеска ботиночки, свитерочки с треугольным вырезом – эдакий маменькин сынок (на деле – совсем наоборот). Единственный из парней, кто часто покидал пределы района, и кого девочки иногда брали с собой на ночные кутежи в клубы Москвы, заведомо жертвуя бесплатными коктейлями и завтраками в ресторанах. «Кстати, его частенько принимают за гея. И что он? Подыгрывает, конечно!)))» – тихо рассказывала мне Ася как-то раз. Дима был их «подружкой», и дружба эта была настоящей, тянущейся ниточкой из самого детства.

Такие, как он, обычно, выбираются из районного болота сразу по окончании школы, поступая в университет. Но это не случай Димаса. Вообще, три слова могли бы его охарактеризовать. Слащавый. Культурный. Расп**ый. Из всей тусы он имел наибольший потенциал чего-то достичь и меньше всех прикладывал к этому усилие. Лень была пороком, который он в себе искренне ненавидел, но совершенно не мог его в себе искоренить. Лень было. Он честно пытался изменить свою жизнь и очень страстно всех уверял, что в этот раз у него получится, но раз за разом его запала хватало не больше, чем на неделю.

Так, к двадцати пяти годам он: был не допущен в десятый класс (одноклассники Марго, Ася и даже Ваня с Захаром остались до одиннадцатого), кое-как закончил экстернат, не поступил, год ничего не делал, поступил в вуз на платное, отучился год, вылетел, отслужил в армии, поработал на пятнадцати работах, на каждой не задерживался дольше двух месяцев, через маму попал на неплохую государственную службу, где платили стабильные копейки, не требуя при этом умственных затрат, что тоже наскучило ему через полтора года, и он собственноручно подписался под программу сокращения, после которой ему выплатили приличную сумму, растянутую им ещё на год безделья.

Впрочем, последнее, конечно, случилось намного позже описываемых мною событий, но является, однако неотъемлемой частью его портрета.

Мать съехала от Димы к своему мужику после того, как узнала, что сын откровенно прогуливал университет и, как следствие, вылетел после первой же сессии. Вместо того, чтобы апеллировать, переводиться или идти работать, Дима с той самой злополучной зимней сессии всё лежал дома на своём маленьком стареньком диване, покуривал с друзьями сигаретки в подъезде да побухивал на выходных. Последней каплей в чаше терпения матери стал случай, произошедший в мае, как раз накануне моего прибытия домой.

К Димасу заскочил Захар, тоже не допущенный до сессии (правда, уже летней) и поставленный на отчисление. Он тогда задумал зарядить ректору и начал приторговывать на районе дурью, которая, естественно, была у него с собой. Димас с Захой раскурились прямо на балконе, пока мамка была в квартире, и, учуяв с кухни странный запах, пришла поглядеть, что творится в комнате. Они не заметили, как она подошла к стеклопакету балконной двери и с ужасом и недоумением с минуту глядела на извлечение.

Захар тут же ретировался. Между матерью и сыном разгорелся скандал. Крик. Пощёчина. Сбор вещей. «Так ты ещё и наркотики употребляешь! Это же ужас просто! Никакого уважения! Дима! Ни-ка-ко-го! Я устала! Тебя уже поздно воспитывать, живи как хочешь, я только за квартиру буду платить!»—губы матери дрожали, в глазах стояли слёзы, голос истерически дрожал, хотя она была из тех женщин, что обычно умудряются сохранять спокойствие при общении с отпрысками и мужчинами.

Развернулась, хлопнула дверь. Дима смотрел в глазок, как она дожидается лифта, теребя в руках бежевый шёлковый платок. Кровь прилила к его лицу, хотелось заплакать, выбежать к ней, вцепиться в ногу, как когда-то, когда он был маленьким мальчиком и не скрывал своих чувств. «Ну и пофиг» — заключил он, закурил сигарету в коридоре и пошёл в её спальню, распластавшись на большой двуспальной кровати, выдыхая дым прямо в потолок, и долго-долго лежал так, прокручивая в голове всё произошедшее.

Так он остался один в двушке с хорошим ремонтом на окраине Москвы.

Димас думал, мама погорячилась и вернётся через несколько дней, однако настрой её был серьёзный, два раза ещё она приезжала за своими вещами и привозила продукты, после чего приезжать перестала, общаться стали больше по телефону, видаться на нейтральной территории, и делами его она с завидным упорством не интересовалась.

— Ты вообще как себя чувствуешь? — спрашивали его пацаны.

— Ой, да нормально я себя чувствую, чего вы при**ались?

Но это, конечно, было обманом. Деньги, которые она оставила на первое время, быстро закончились, и Дима просил проходящих к нему ребят купить ему сметаны, масла и буханку белого хлеба – делать гренки, запивая водой из-под крана. Девчонки таскали из дома вкусности, помогали убираться и делились с ним сигаретами в обмен на то, что двери его квартиры всегда были для них открыты, можно было зависать там по вечерам и бухать перед клубом каждую пятницу. Когда дела стали совсем плохи, после недолгих размышлений Димас не нашёл ничего лучше, чем сдать свою квартиру.

– Дим, ты что, серьёзно? – со смехом спросила Ася, когда он озвучил нам свою идею. – Ты реально хочешь так сделать?

– Не, ну а чё, деньги будут, а делать ничего не надо.

– И как ты планируешь жить с чужим человеком?

– Я сдам им свою комнату с балконом, а сам буду тусить в маминой. У нас же не проходная.

– Ах-ха-ха, это так мило! Блин, ну ты даёшь! – смеялась Марго. – Чисто в твоём стиле! Ты бы лучше работу нашёл!

– Да я найду... Просто, что мне делать? Официантом идти с хачами работать? Или курьером за копейки?

– Блин, а помириться с матерью и пойти учиться – не вариант?

– Ну начина-а-а-ется. Нет, не вариант! – отрезал Димас и через неделю нашёл по сети молодую пару из Иваново, лет под двадцать пять, решивших перебраться в Москву.

Девки тогда поржали над ним, не поверив, что он и вправду кого-то подселит, пока не завалились к нему и сами не увидели несколько лишних пар обуви.

«Заваливайтесь», – радушно пригласил Дима, отворив тяжёлую, обшитую изнутри коричневой кожей металлическую дверь, со множеством замочных скважин, через некоторые из которых можно было подглядеть за жизнью квартиры номер 199.

– Ди-и-им, ты что, серьёзно? Это чё? Что за фигня? – спросила Марго, указывая кивком на обувь.

– А, это квартирантов, – небрежно бросил Димас через плечо, удаляясь на кухню с буханкой свежего хлеба, сыром, маслом и молоком в полиэтиленовом пакете, принесённом девочками.

– КвартирантОВ? – переспросила Ася.

– Да, Аня и Паша. Парень с тёлкой. Из Иваново.

Девки начали давиться смешками:

– Дим, ну ты даёшь! Ты что, их на материной кровати разместил?

– Бл*, ну нет, конечно. У себя. А сам у неё.

У матери: в большой комнате с навесным потолком, регулировкой света, кондиционером, большой двуспальной кроватью с чугунными завитушками у изголовья и фисташковым бархатным покрывалом, в тон чуть более светлым стенам. У себя: в комнате, которая всё никак не могла повзрослеть, навсегда оставшись детской любимого сына. Компьютерный стол, заваленный барахлом ещё со школьных времён, какие-то медальки, грамоты, небольшая односпальная тахта, фотки маленького Димы; она хранила в себе трепет материнского сердца, не способного признать, что мальчик стал мужчиной.

– Ребят, вам точно нормально на односпальной? Я думал вписать одного человека...

– Да ничего, мы уместимся. Прижмёмся как-нибудь, – робко ответила невысокая светленькая Аня, когда они впервые приехали к нему посмотреть комнату.

– Ну смотрите. Только я на балконе курю, надеюсь, вы не против? – единственным плюсом этой комнаты был балкон. – Я стучаться буду, не переживайте!

И они ударили по рукам, не подозревая, конечно, какой у Димаса проходной двор и что в их отсутствие шнырять покурить будет не только хозяин хаты, но ещё с десятков человек. Да

и присутствие новых жильцов никого не смутит. Димас продолжал радушно вписывать своих закадычных друзей и подруг, собирая с них еду и курево, и веселился на отведённые ему судьбой пятнадцать т.р. в месяц.

– Да-а-а, ну у неё и обувь! Ты зацени, Рит! – Ася потешалась над дешёвенькими штиблетами из кожзама, скромно примостившимися рядом с пятью парами Диминых кроссовок. – Я вот не понимала никогда, как можно носить дерматин? От него же ноги воняют!

– Ой, да забей, Ась. Они вообще странные. Не, я понимаю, бабла у них нет, но ты посмотри, сколько жрачки! – и Дима повёл всех на кухню.

– Вот эти бананы, – он показал на связку почерневших бананов в запотевшем полиэтиленовом пакете, – два батона хлеба, вот все эти конфеты, – на столе стояла миска, полная шоколадных конфет, остаток которых был бережно завёрнут в пакет, завязанный аккуратненьким узелком, – это всё их. Виноград, два брикета масла, сыр, мясо, курица, – он перебирал продукты в трещавшем по швам холодильнике.

Девки заржали:

– Дим, тут твоё-то есть?

– Не-а. Только сметана, вот, и то заплесневела, – он показал на баночку с небрежно закрытой фольгированной крышкой; пластиковая, видимо, потерялась.

Ася внаглую приподняла её двумя пальцами и, заглянув внутрь, обнаружила с пяток сизых пупырышков плесени на остатках, размазанных по стенкам баночки.

– Ха-ха-ха, да, сметанка свежая у тебя. И чего ты, воруешь у них?)))

– Нет, конечно, я вообще не трогаю. Но ты посмотри, все эти йогурты, молоко, хлеб – половина просрочена давно, а они всё покупают и покупают.

– Да-а, – протянула Марго, и стремящийся к виску уголок её брови вытянулся в идеальную дугу, – на нормальную обувь денег нет, а на еду всегда найдут. Никогда не понимала таких людей! – она презрительно скривила губы. – Вот на фига им столько еды? Чисто деревенские замашки, как у Соболевой, помните? За границей ни разу не были, зато пожрать всегда дома есть.

– Да-да, Рит, – поддержала Аська, – мы к ней после уроков частенько заваливались, ха-ха-ха, помнишь, вечно дома пожрать есть, не то что у нас. И на всё лето в деревню. Никогда этого не понимала тоже. Хотя... вот посмотришь на наших женщин в метро, которым за сорок, и сразу всё ясно. Вот это вот, – она окинула взглядом кухню, – вылезает потом жиром на жопе и ослиным выражением лица, которое в своей жизни ничего кроме холодильника и телика не видело. Нет бы в театр сходить. Такие вечно жалуются, что денег на театр нет, но на жиры свои есть. А чего ты бананы то не выкинешь? Они, вон, зачервят скоро.

Девки искренне верили, что они хорошо разбираются в людях, что им достаточно нескольких минут соприкосновения с такой незначительной, но весомой гранью быта, как кухня, чтобы составить верное суждение о личности.

– Рит, ну как я их выкину, это же не моё. Я им говорил: ребят, вы бы выкидывали то, что не нужно или испортилось. А эта Аня так на меня посмотрела, как на врага народа, мол, «нашим дедам на войне есть нечего было, а ты так говоришь», и проямлила, что они всё съедят.

– Колхо-о-о-оз.

– Господи, как ты это терпишь?

– Да нормально терплю, мне пофиг. Они тихие.

– Ой, да это они его терпят, Ась! – сказала Марго. – Вон, люди в одиннадцать-двенадцать домой приходят уставшие, а мы ж тут вечно музлу на всю слушаем, дверью хлопаем, орём. Полюбому они свалят от тебя, Дим!

На что Димас лишь безразлично пожал плечами.

Потом, в какую-то из пятниц, наши тёлки порывались с этой бедной Аней бухнуть, не столько, чтобы узнать человека, сколько, чтобы поднять её на смех. «Привет, Ань. Серёга на работе ещё? Пойдём с нами посидим, винца бахнем?» – приторно вещала Ася. И Аня пошла. И выглядела она на кухне как испуганная собачонка. Жёсткий московский стёб (к которому я и сам не мог привыкнуть первые месяцы – всё не знал, что ответить, чувствуя себе полным придурком), мат, сигареты – всё это было для неё дико и не нравилось ей.

По взгляду читалось, что она ждёт не дожждётся прихода своего молодого человека, чтобы уйти от неприятной компании. Девки её настроение только раззадоривало, и они становились всё жёстче и жёстче: «Да ладно тебе, пойдём с нами. Чего ты тушуешься, мы не кусаемся! Курить будешь? Не куришь? Ты серьёзно? Смотри-ка, правильная какая! А чё, как вам на кушетке-то спится, не очень тесно?» – всё это они говорили таким сахарным тоном, надменность так сквозила в их улыбочках, что девочка всё отчаяннее вертела в руках бокал, пока не расплескала его на себя, найдя наконец повод закрыться в ванной – замыть футболку (читай: перевести дух и собраться с мыслями). «Не хочешь с нами поехать, мы тут тусить собираемся. Могу одолжить тебе свои туфли, правда, у меня тридцать седьмой размер», – завела Марго, когда Анечка вернулась на кухню, вся красная как помидор.

– Рит, хорош. Оставь человека в покое. Она вас боится уже! – одёрнул её Димас. – Ань, не обращай на них внимание, они дуры.

– Ой, слышь, а сам-то!

– Да чья бы корова мычала! – обиженно затарахтели девчонки.

В целом я был с Димой согласен, мне тоже было жаль Анечку, но куда приятней было быть ровней нашим девчонкам, чем ей. Я промолчал. Девки, что-то бубня, засобирались на тусовку. Мы с Димой остались, подвалил Захар и добавил маслица в огонь ещё и тем, что начал нагло подкатывать, рассевшись в комнате Ани и Паши на вертящемся, раздолбанном, школьном стуле Димы, закинув ноги на стол, где лежали их вещи. Кайф ему обломал её парень, вернувшийся с работы.

Паша поздоровался со всеми крепким рукопожатием, держась прямо и открыто. Он, не скрывая злости, сверлил Захара глазами весь вечер после того, как увидел его выходящим из комнаты, где находилась его девушка.

– Да ладно, чё ты волком смотришь? – начал Захар, когда Паша нарочно задел его плечом, протискиваясь к холодильнику, стоящему в углу и без того тесной кухни. Мы все сидели за столом, а они оба стояли: Заха наливал в кружку пива, а Паша намазывал себе бутерброд и шёл обратно, убрать брикет масла.

– Я? Тебе показалось! – с вызовом ответил парень.

– Не думаю...

– Эй, хорош! – сразу начал Дима.

– А чё я? – Заха начал заводиться, но Паша спокойно вышел из кухни, за руку попрощавшись со всеми, кроме него. В каждом его движении, взгляде, слове чувствовался внутренний стержень, которого многим из нас не доставало.

Через пару месяцев они съехали, и Димас снова остался без денег.

Стадик

«А почему ты хохол?» – спросил я как-то Саню. Пацаны заржали: «Потому же, почему ты – америкос». Парни меня так и называли. «С Украины я, – ответил Саша. – Матушка с братом переехали к тётке в Москву в конце девяностых, когда они с батей разошлись. Потом меня перетащили, как только здесь всё устаканилось, и она устроилась учительницей в 850-ую».

Саня. Взгляд тяжёлый, колкий, считывающий твои мысли. Кривая ухмылка. Ну точно. Он всё про меня понял. Чёрный – как чечен. На фоне пацанов он казался самым умным. Мало говорил, отчего слова его всегда имели особый вес. Курил одну за одной. Дул, жрал кислоту,

но категорически не любил наркоманов, никоим образом себя к ним не причисляя. Всегда был при деньгах, и деньги его всегда были грязными.

Они со старшим братом мутили дела. Тогда они казались мне нереальными гангстерами, но сейчас, осознав масштаб творящегося в нашей стране беспредела, я понимаю, что они были середнячком. Среднячком, впрочем, обладавшим острым умом и смелостью, благодаря которым их бизнес быстро вырос и закрепился в нехитрой, но огромной нише столичного наркотрафика. Они были предприимчивы, не сидели на месте и во всём стояли друг за друга горой.

В момент, когда в столице был голяк с таблетками и все столичные тусовщики обрывали провода своих барыг, они привезли несколько пакетов поездом Питер – Москва. Для прикрытия надели дорожную спортивную форму (в какую одевают наших спортсменов богатые федерации), напихали наркотики в спортивную сумку, а сверху завалили мелким спортивным инвентарём вроде бинтов и напульсников, и на самое видное место – две медальки и кубок. Типа легкоатлеты. Уже в Москве тормозят их менты на вокзале, мол, покажите сумки.

– Без проблем, командир

– А, спортсмены, ребят? – спрашивает серый, углядев награды.

– Да, с первенства России едем! – с гордостью отвечает Саня.

– Мы братья, – добавляет его брат, обнимая Саню за плечо.

– А... Золотые? Поздравляю, мужики, идите, не буду задерживать, – салютует мент.

Спорт – это святое. Наше всё. Новая национальная идея. Посягнуть на сию святыню не способен даже самый последний грешник. За две ночи пацаны подняли нехилое бабло. Даже клиентов искать не пришлось.

Одна из сотен подобных историй. Парник в Подмосковье в глухом лесу. Натуральная такая теплица, в домике бывшего лесничего с подведённым электричеством, лампами и обогревом. Власть лесничество давно упразднила, и если лес на момент времени не вырубался – никто его не охранял и не знал, что там происходит. Тогда ещё не было всей этой возни с дронами, и даже в ближайшем Подмосковье можно было найти забытую богом хибару. Чуть поглубже в области, где не строят уже коттеджей, зимой и летом растёт отборная трин-трава лучших европейских сортов. Летом и осенью пацаны гоняли на мопеде окольными дорогами собирать урожай, потому что мопед никто тормозить не будет, зимой и весной нанимали таджиков, чтобы присматривали и привозили на специальную квартиру, арендованную в чёрную на поддельные документы.

Хохол о своих делах пацанам особо не рассказывал, но мне почему-то начал со временем доверять. Как-то мы сошлись на почве того, что я, как и он сам, тоже был не совсем местный, а ещё он мне однажды сказал: «Я тебя уважаю за то, что ты выбрал Россию, брат». Он был с Украины, но этническим русским, и вопрос «русскости», как и всё произошедшее через несколько лет, сильно его тревожили. В общем, я был исключением первого из двух его главных принципов: 1) друзья и бизнес – друг к другу относиться не должны. Никак. Друзьям он не просто не продаёт, друзья даже не знают, что он что-то может продать; 2) на своей территории бизнес не вести, район и даже округ – дом родной, а вот остальной город – рабочее место. Это привело их с братом к успеху.

Я, конечно, обо всех этих мутках Сани далеко не сразу узнал. Поначалу он сторонился меня в своей типично-угрюмой, задумчивой манере. Я ловил на себе его косой, сканирующий взгляд долгое время. Стоило мне на него посмотреть, он отворачивался, а когда я с ним заговаривал, он словно надевал улыбку холодной приветливости, с которой общался практически со всеми – знакомыми или не очень людьми.

Спустя несколько недель моего знакомства с пацанами ему привалило бабла, и он решил хорошенько проставиться. Мы накупили бухла, взяли подуть, парни зарядились красками и маркерами, и мы всей честной компанией завалились на школьный стадион, закрытый на всё лето от посторонних высоким металлическим забором с калитками, запертыми на висячий

замок. Если мы где и бухали всей толпой, так это там. Место было хорошее. Ярко освещённый, пустой стадион между двумя школами: моей и той, в которую ушёл Ваня (и которую закончили почти все наши пацаны).

В общем, место было отличное. Во-первых, школы стояли на отшибе района, мы никому не мешали. Со стороны учебных корпусов нас было неслышно, а со стороны самого стадиона, за забором, проходила тёмная глухая дорога, отделяемая от нас густым, высаженным вдоль забора кустарником. Обзор был прекрасный, ментовскую машину было и слышно, и видно издали, да и пока они нас увидят, пока попадут на стадион – все уже давным-давно свалят. Ну и самое главное – пацаны корешились с охранником одной из школ, отвечающим за стадион. Он нас туда и пускал (дядь Толя никогда бы не пустил, хотя наверняка и видел нас). Охранник этот в обиде не оставался, постоянно получал халявную пяточку или пару бутылок пива, и бывали даже случаи, что предупреждал пацанов о приближении патруля, наблюдая по камерам за происходящим вокруг школы. В общем, это была наша летняя схема. Вот тогда-то я впервые и заобщался с Саней. Мы прилично «насвинячились», и как-то так получилось, что у нас с ним по синей лавочке начались пьяные разговоры за жизнь. Он спрашивал про англичков, про их культуру, то да сё, про политику начали, а под конец и вовсе, перешли к религии.

Только с русским человеком можно вот так, с полпинка, перейти от будничных, светских тем к самому сокровенному и острому. Искренность выльется на тебя потоком, сшибающим с ног, и ты не сможешь ничего с собой поделывать, отвечая на неё точно такой же искренностью. И если с первого взгляда наш неулыбчивый народ кажется грубым, завистливым и злобливым, то при первых же минутах общения неприглядная стена эта, отгораживающая душу от внешнего мира, окажется воротами, которые, открывшись пред тобой, обнажат всё светлое и глубокое, что может храниться в ней – душе человеческой, и станет доступно всякому, кто захочет так же приоткрыть свои врата.

Он, конечно, был для нас хохлом, но это ничего не меняет.

– Не, ну вообще – я верю в Бога, – серьёзно сказал Саня, – не то, чтобы я особо разбираюсь, чего там в Библии написано, но мне кажется – есть какой-то создатель, понимаешь? Всё-таки я замечаю, что надо по совести жить. Если ты говна не делаешь, то и тебе нормально будет.

– Ой, бля, по какой совести? – вмешался Лёха – Ты нарик тот ещё, кидаешь лохов всяких покруче всех нас вместе взятых.

– Слушай, ну, во-первых, я не нарик. Скажешь так ещё раз – получишь п**ды сразу. А во-вторых – лох на то и лох, чтобы его кинуть. Это законы джунглей, брат. Природа, понимаешь? Но есть вещи выше природы, я вот о чём толкую. Я же тебя не кину. И если мы о чём-то с тобой условились, я сделаю. В отличие от тебя. А вот ты, Лёха, вообще борщишь частенько, потому и отхватываешь по полной.

Тут вмешался Захар:

– Ой, Сань, да он вообще конченный, нашёл, о ком говорить.

– Ой, да пошёл ты! – заржал Лёха в ответ.

– Не, ну Лёх, серьёзно, эта история с бутылкой на той неделе, это полный зашквар. Даже для меня, человека неверующего! – ответил Заха.

– Да что-то я не заметил, чтобы ты был особо против, – начал вскипать Лёха.

– Против чего, пацаны? – не понял я.

– Короче, – начал Заха, – дичь полная, ха-ха-ха. Захожу я на той неделе к Лёхе, когда тётка его была на работе. У него сидит Винт. Прихожу с плюхами, естественно. Садимся за стол, лепим, и тут понимаем, что бутылка-то у нас и нету. И что ты думаешь? Лёха такой говорит: «О, так это ж тётка тут в церкви была», понял, и прямо у меня на глазах достаёт там с какой-то полки бутылку со святой водой, выливает воду в раковину и делает там дырень. Это же жуть полная, даже я на такое не способен! Даже Винт, блин, который уже себе под колено говно всякое ставит, сказал, что это дичь.

– Бл*, ну ты урод, – заржал Саня, отвечивая Лёхе подзатыльник, от которого тот ловко увернулся.

– И что, вы покурили? – спрашиваю я.

– Не, покурили, конечно, но как-то не по себе было)))

– За-а-а-ха-а-а-ар, – протянул кто-то из пацанов.

Все заржали. «Да это вообще жесть полная», – вставил кто-то. «Не, пацаны, ну а что делать было?» – со смехом ответил Лёха, и разговор компании как-то ушёл в другое русло, оставив нас с Саней продолжать беседу.

– Не, ну уроды, конечно, – Саня усмехнулся и закурил свой Dunhill, угостив меня. – Понимаешь, Лёха – хороший пацан, я его по-братски люблю. У него душа чистая, русская, но он – как ребёнок, понял? Немного не всекает, чего творит. Вообще, если к нему нормально, то и он к тебе нормально. Но есть за ним такой косяк, он борщит часто. И торчит. Не знаю, ты, может, уже замечал, но он пытается доказать, что он хуже, чем он есть. И заигрывается. Ну чисто как ребёнок.

– Да я заметил! – закивал я головой. Градус алкоголя сделал эти движения чуть более горячими, чем они были бы по трезвости.

– Знаешь, у него история такая, нелёгкая. Ты, ведь, не знаешь даже малой части всех движух. Но я тебе расскажу, ты нормальный пацан, за базар отвечаешь. Короче, Лёхе несладко в жизни пришлось. Матушка его умерла от какой-то сердечной болезни когда тот ещё пацанёнком бегал, с отцом она в разводе была, тот сиделый, знаешь? Типа вор, но не лох какой-то, серьёзный мужик. В общем, я точно не знаю, сел ли он когда они ещё были в браке, или уже потом, но это не суть. Он откинулся, когда Лёха был уже подростком, ну и сиротой, получается. Отец мужик ровный, совестливый, старался как мог восполнить то, что не додал, а как восполнить, если они почти незнакомы были? Баблом конечно. Он при бабле же как был, так и остался. У него там, после отсидки, сразу другая семья, дети, понял? Но Лёху он не забыл. Воспитывать, понятно, было уже поздно, ну, знаешь, не можешь же ты воспитывать сына, если начал с ним общаться, когда тому уже лет двенадцать. Но бабками помогает всегда... Всё, что у Лёхи есть, – это всё на отцовские деньги. А ещё у Лёхи есть старший брат. Родной. Он его старше лет на пятнадцать примерно. Может, чуть меньше. Погоняло у него – Авария, потому что он жестили ещё в девяностые. Лёха как-то рассказывал о его выходках. Лёха ещё малой был, и тогда, знаешь, время такое было, не было же всякой синтетики угарной, все как-то быстро с дудки на героин перескакивали. В общем, брат его тоже по этому делу был. Ну и вообще, по всем делам он был первый. И воровал, и даже, говорят, замочил кого-то, но батя отмазал. А потом решил с геры слезать, и вроде как за ум даже взялся, но когда мамка умерла, он начал жёстко бухать и до сих пор так и бухает. Мы его по-любому как-нибудь на районе встретим, я тебе покажу. Пропаций чувак. Ну, знаешь, чисто алкаш. Ему всего тридцать с чем-то, а выглядит на все пятьдесят, тусуется со всяким сбродом. Неудачники.

Он замолчал на несколько секунд, докуривая очередную сигарету.

– Ну, короче, Лёху на воспитание взяла тётка. Мамина сестра. У неё у самой дети уже взрослые были на тот момент, все разъехались. Я уж не знаю, что там и как, она его воспитывала хорошо. Лет до пятнадцати. Знаешь, он таким мальчиком был, все его даже стебали. Не разрешала она ему в другой двор уходить, оберегала от брата, не разрешала им общаться. Отец всё это время бабло на сына ей заряжал. А потом – как у всех: компании, бухло, дудка. Лёха начал от рук отбиваться, а она и забила. Не родной же, как ни крути, сердце не болит так, как за своих. Лёха с ней живёт, материну квартиру они сдают, плюс отцовские деньги... В общем, особо ни о чём думать не надо. Вылетел, вот, из универа в этом году. Два курса отучился всего. Он тебя на год старше. Всё говорит, что восстанавливаться будет. Хочется, конечно, верить, но знаешь, что меня пугает? Он что-то юзает слишком много. Затусил с этим соседом Винтом, я его особо не знаю, но Винт феном торгует и сам юзает. Сам знаешь, на «скорость» подсажи-

ваешься очень плотно и очень быстро. Я терпеть не могу всех этих феновых торчков. Вся эта дрянь московская сжигает мозги за считанные месяцы. То ли дело кислота... Лёха ещё весной кричал, что хочет снова учиться пойти, а сейчас уже переобулся – зачем мне эта учёба, люди не знаниями зарабатывают. Говорит, нахрена ему эта жизнь офисная, когда можно «мутить дела и спать допоздна», но только какие дела? Ты его видел? Это вообще не про него. Он парень добрый и наивный, как цыплёнок. Я вот всё пытаюсь ему втолковать, что его быстренько повяжут, если он решит что-то там мутить. Такие дела, – Саня смачно сплюнул.

Слушая эту историю, я всё искоса поглядывая на веселящегося Лёху. Высокий, худощавый, светловолосый парень. Его называли Рыжим, потому что у него была очень забавная примета: прядка волос на голове была с детства медной. Она ярко выделялась на фоне остальной светловолосой бошки. Бессменная усмешка на лице. Он не воспринимал никого и ничего всерьёз, но иногда казалось, что за этим вечно лукавым взглядом есть что-то очень глубокое, неизведанное.

Глаза ярко-синие. Такие, что сразу бросились в глаза, когда я пришёл в компанию. Я весь первый день всё одёргивал себя, чтобы не пялиться на них, как влюблённый педик (как бывает, стараешься не смотреть на бросающееся в глаза физическое уродство, но взгляд к нему так и тянется. С красотой так же получается). Сначала даже не особо хотелось с ним разговаривать из-за этого, но потом попривык.

Девчонки ему постоянно мурлыкали: «Лё-ё-ёш, вот бы нам такие глаза». А ещё девчонки мурлыкали: «Вот бы на-а-а-ам такие реснички!» – видимо, ресницы у него были красивые. «Вот бы на-а-а-ам такую улыбку!» – улыбка у него и правда была такая, что всегда хотелось улыбнуться в ответ.

Лёха и Димас были самыми лучшими друзьями Ваню. Заха, Саня и остальная шобла как-то потом образовалась. Но по детству они всегда были втроём. До сих пор зачастую даже приходили и уходили втроём. Только если Ваню и Лёха к себе прямо располагали своей простотой, то Димас мне совершенно не нравился. Такой он был весь вылизанный, манерный, высокомерный. И он всегда как-то холодно ко всем относился, держался всегда как-то странно, будто едва знаком с пацанами, типа забрёл в тусу случайно.

Когда я, пошатываясь, возвращался домой со стадиона, летнее солнце уже во всю разгорелось, принесся первые вестники зноя, наступающего на смену ночной прохладе: птицы совсем разошлись пением; тени становились всё чернее; луч солнца так сильно обжигал плечо, попавшее в случайный просвет меж крон, что я невольно набирал скорость, чтобы поспеть уснуть до жары.

Я пошёл до дома один и всё думал об истории Рыжего. Все эти недели, что я общался с пацанами, Рыжий казался мне таким беззаботным и весёлым. Я не придавал этому особого значения, но сейчас, бредя лесной тропой наедине с пьяными мыслями, очевидным становилось, что именно такими весёлыми и беззаботными кажутся люди, у которых внутри стонут незаживающие раны прошлого.

В его синем взгляде всегда горели огоньки веселья, но только теперь я ясно увидел, что веселье это всегда было на грани отчаяния. Хотя, может, я всё это себе придумал? Может, ничего такого и нет, и вовсе я не прозрел, а просто забавный эффект долбанного курева: тебе кажется, что ты замечаешь что-то, чего без курева не замечал. Знаете, такие подводные камни повседневности. Подмечаешь, кто на кого как посмотрел, где промелькнула ухмылка. Видишь реакции людей и приписываешь им особые значения («И как я раньше этого не замечал?!»). В обычном состоянии всё это – лишь общий фон, воспринимаемый на уровне подсознания, а когда ты накурен – все эти детали буквально режут тебя своей остротой, унося в переживания об их значениях.

Я шёл, как мне казалось, очень медленно и долго, у меня слегка кружилась голова, и воображение само рисовало то, чего я никогда не видел: Лёхиного отца в татуировках, его

тётку, почему-то полную даму в клетчатом переднике, которая из окна смотрит на маленького Лёшу, прячущегося за гаражами. Его мать, которая, наверное, была очень красивой. Всё это казалось мне вполне реальным, почти осязаемым. И, на деле, примерно таким и было. Только я не знал, что высокий худощавый Лёха в детстве был толстячком и говорил тоненьким голосочком, был довольно-таки милым, послушным и тихим мальчиком. Пока однажды ему это не надоело.

После той попойки на стадионе я окончательно стал своим. Если раньше звонил мне только Ваня, то теперь звонили и другие пацаны, тоже называя меня братом. Чувство принадлежности было очень приятным. Я никогда раньше не принадлежал тусовке. У меня были друзья, приятели, но мы всё как-то по одному или по два. В школе я не был лохом, но после того, как Ваню ушёл в школу к Захе, Димасу и девочкам, я задружился с ребятами несколько иного типа.

С Ваней мы ещё дружили, поскольку жили в соседних подъездах, но когда подросли, наши пути разошлись. Я всегда смотрел на него с беззлобной, прямой, мальчишеской завистью. Он казался таким безбашенным, ему было наплевать на мнение других, и это читалось во всём его образе, складывающемся из мелких деталей: вальяжная, чуть раскачивающаяся походка, расплавленные плечи, неизменная улыбка на лице, сигарета в зубах гуляет от одного кончика рта к другому. Он нравился девочкам, его часто можно было увидеть в женской компании, и издалека видно было, что он ничуть не смущается, а лишь ещё больше рисуется, заигрывая с каждой по очереди, что раззадоривало девочек ещё больше.

Я всегда гордился давним знакомством с ним. Мои друзья были мальчишками другого сорта. Потихонечко, поспокойней, поскучнее. В то время как в моей компании обсуждали компьютерные игры, пацаны давно уже пропадали во дворах до поздней ночи, прогуливали уроки, встречались с тёлочками, пробовали алкоголь и курили сигареты за гаражами. И я всегда хотел быть таким, как они, но никак не мог понять, как мне им стать, как к ним подступиться и в чём вообще, состоит отличие между нами. Мои школьные годы прошли вяло и скучно. Мне, конечно, тогда так не казалось, наверное, было какое-то своё веселье, но когда я попал в районную тусовку, тогда-то я и понял, как много я упустил.

Грач и Родион Раскольников

Денис Гусев. Дэнчик. Грач. Логично, если бы его называли Гусем, но все звали Грачом, и сам он приговаривал: «Гра-а-ач – птица у-у-умная и сообразительная!» – переиначив известную фразу из мультика. Кличка прицепилась неспроста. Дэн с виду был угрюм и недружелюбен (так казалось из-за нависающего над глазами, выдающегося вперёд лба, оканчивающегося двумя щётками косматых чёрных бровей). Он будто всегда был в чёрном, даже если был в жёлтом. Невысокий, худенький брюнет со светлыми глазами.

«Грач» – коротко представился он, протягивая руку. Он пришёл ещё с одним парнем, которого звали Рома, но все, почему-то называли его Родионом, или Родей. «Потому что с бабушкой живёт и очень её любит!))» – весело объяснил мне Ваню (такая странная связь с Раскольниковым могла родиться только в устах района). Грач и Родя. Они с детства дружили, оба жили в одинаковых «свечках» у леса, но во всём остальном они были совершенно разные, если не считать того, что их звали совсем не так, как звали на самом деле.

Грач был молчалив, задумчив и серьёзен. Когда кто-то смешно шутил, его лицо за полсекунды меняло привычное, угрюмое выражение на широкую улыбку, делающую его похожим на скалящегося пса. Он вдруг начинал очень громко смеяться, словно лаять, а потом, ровно через две секунды, замолкал так резко и окончательно, что все вокруг смеялись уже над этой его особенностью. Родя же был абсолютной ему противоположностью. Улыбался он, кажется, всегда, по поводу и без, и улыбка его напоминала улыбку Чеширского кота, наливавшегося

сметаны. Крепенький паренёк с исконно русской внешностью: тонкие светлые волосы, массивный овал лица, нос картошкой. Добродушный и простой с виду. Да такой душой он и был.

Возможно, именно по этой добродушности так и получилось, что ребята считали его недалёким, мол, вечно он не догоняет и вступает в разговор, вставляя мнение, которое ну совершенно не к месту. Они высмеивали его, а он сносил всё с улыбкой, никогда не пытаясь доказать правду, которая, как я заметил, зачастую была за ним.

Мы как-то сразу с ним сошлись и начали довольно близко общаться, он стал часто звать меня к себе – покурить у него на балконе с видом на лес да по***деть обо всём на свете. Что-то, а глупым он точно не был. На все выпады в свою сторону он либо отмахивался, посмеиваясь, либо отшучивался, никогда не тая обид на шутившего. В его мире обиды попросту не существовало, он искренне не понимал злобливости и подлости, как всякий добрый человек, в других только доброту и подмечающий.

Более того, ему присуще было слишком тонкое для восприятия большинства чувство юмора (особенно самоирония, которая сразу располагала к себе), свидетельствовавшее об остроте ума. Он был способен дать ёмкое и точное определение происходящему вокруг, подметить за людьми мелочи, обличить мелкую ложь, их пороки, порой едва заметные, которые я если внутренне и улавливал, то точно не в силах был облечь в слова. Он боялся обидеть, не склонен был рисоваться, играть на публику, и потому, разоблачался только лишь с глазу на глаз. Только и оставалось, что сказать: «Блин, точно-точно! Я понимаю о чём ты!»

–Родь, слушай, не в обиду, я всё спросить хотел, почему тебя стебут, типа ты тупой. По моему, ты нифига не тупой!

– Ха-ха, спасибо, брат. Да просто они сами тупые, – ответил Родя.

Таким он был. Очень простым. Душа нараспашку, рубаха-парень, всё как на ладони – ничего не таил и не скрывал. И даже простоватый Ваню был на его фоне хитрецом. Но была это вовсе не глупость, а предельная феноменальная честность, которую редко можно встретить в нашем мире.

«Как-то раз... – рассказывал мне Родя, – я решил перестать пиз**ть. Понимаешь, на ранчо все друг другу пи**ят, и я заметил, что сами от этого страдают. Я на это всё посмотрел и решил для себя раз и навсегда, что ни при каких обстоятельствах никогда больше пи**деть не буду!» Вот так вот просто. Сказал и сделал. С тех пор он никогда не врал, и честность его принималась за глупость.

Его лучший друг Грач – совершенно другой. Тёмная лошадка. Он часто недоговаривал, с лёгкостью мог соврать, был склонен менять свои мнения и бросаться из крайности в крайность. Он то начинал усиленно качаться и бросал даже сигареты, то жёстко нюхал фен с Лёхой. То утверждал, что мы живём не по закону Божию и созывал всех купаться на крещенские морозы, то утверждал, что православие – политизированная брехня, мы – арийцы и верить должны в истинных, славянских богов.

Нет, не подумайте, что он был какой-то повёрнутый фанатик... Просто все изменения в его жизни всегда были радикальными. «Раз и навсегда» длилось, как правило, не более двух месяцев и неизбежно менялось на нечто совершенно противоположное.

После школы Грач пошёл по стопам своего отчима Кости, от которого у его мамки было две малых девочки. Костя был врачом, но в мединститут Грач, конечно, не поступил бы, а проплачивать у семьи, которая и так тянула троих, денег не было, поэтому выбор пал на медицинский техникум, окончание которого не сулило ничего, кроме кропотливой и не слишком прибыльной работы руками. Отчим сошёлся с матерью Дениса, когда тому было четыре года и, как это часто бывает в наше время, заменил ему отца. Они долго жили втроём в каком-то общежитии и только спустя семь лет переехали на наш район, купив неплохую трёшку в соседнем от Роды доме. Грач попал в тот же класс, что и Родя, и пацаны сдружились.

Денис и правда равнялся на Костю и воспринимал его как отца (он никогда не называл его «папой»), но если о том заходила речь, всегда добавлял: «он мне как отец»). Он часто ставил его в пример, слушался во всём, помогал предкам с мелкими: водил и забирал их из садика, довольно часто в ущерб своей личной свободе, и всегда говорил о Косте как-то слегка с трепетом и уважением, как говорит сын о своём отце до тех пор, пока не взрастёт в нём самом мужское и не начнётся долгая пора отрицания родительского авторитета (впрочем, большинство это перерастают, перешагивая в пору братского принятия отца, как равного себе).

Всё изменилось очень резко. Грач с Родей сблизился с компанией, и Денис, по какой-то причине, попал в круг доверия Хохла. Они и правда были очень похожи. Саня даже втянул его в свои мутки, которые показали Дэнчику, что Костя – самый что ни на есть типичный лох. Это было открытие, перевернувшее его жизнь.

Костя, как оказалось, в жизни, в общем-то, ничего не добился. Работал как ишак, получая копейки, в профессии особо не состоявшись. Считал, что трава – это страшный наркотик. Водил большой старый семейный автомобиль. Жену с детьми раз в год возил в Турцию во второсортный отель, всегда оставляя Грача в Москве (хоть раньше тот и рад был остаться один, да и вообще «малым море и солнце больше нужно»). Только вот когда за месяц Грач с Саней накопили денег на Кипр и умотали туда на три недели, семейный уклад показался Денису ничтожным.

Грач начал Косте это открыто высказывать, Костя злился, но ничего сделать не смог. А потом, на каком-то торжестве, собравшись всей семьёй у родственников, Грач услышал разговор отчима с его братом, сводным дядькой Дениса о том, что Костя изменяет мамке.

Дэн жутко разозлился. Вообще-то, он страдал небольшим нервным расстройством и в приступе гнева плохо себя контролировал, но в тот раз злость его была так велика, что он совладал-таки с собой, пулей вылетел от бабушки, только лишь бросил через плечо, что ему надо с кем-то увидеться; примчал на район, вызвонил Саню, который на тот момент был с Захой, и под водочку поведал им о своей ситуации, после чего, спустя пару недель, пацаны подкараулили Костю после смены в тёмной арке, за которой он парковал свой огромный старый семейный джип, и хорошенечко его отму**хали, отобрав портфель (о портфеле они с Грачом не договаривались, но в кураже это было уже неважно).

С тех пор Грач с Костей практически не общались, Костя хоть и не подозревал напрямую пасынка, но понимал, что пасынок, во-первых, злорадствует, а во-вторых, примерно с такими же «уродами» и общается. Тем летом Грач не пошёл на летнюю сессию и решил, что работать по-белому – это не для него. Единственное, что осталось в их семье из прежнего порядка, – ради мамы Денис всё-таки сидел с сестрёнками.

* * *

Маленькие семейный трагедии. Маленькие надломы судьбы, делающие нас теми, кто мы есть. Пацаны многое держали в себе, но многим могли и поделиться. Это сильно трогало меня после жизни за бугром, где даже самые близкие друзья в «душевных» беседах не ныряли глубже лежащего на поверхности. Не дальше разговоров о светском, о бытовом: кто где был, что купил, что съел, кто за какую команду болеет, как вчера эта команда сыграла.

Если речь шла о личном, то в двух словах, если и вдавались в подробности, то никогда невозможно было понять, какие струны души эти подробности затронули. Эмоции выражались скупой и односложно, рассказы о переживаниях не принято было оканчивать обсуждениями, давать советы, но можно выказать соболезнование (только не слишком эмоционально, не многосложно, в противном случае это может смутить собеседника, и неловкая пауза навсегда зависнет между вами). Не принято быть свидетелем жизни другого, а тем более являться её участником. Общество, основанное на принципах частной собственности и рыночной экономики, хорошо знало, что только красивая картинка частной жизни хорошо продаётся.

Дома всё было по-другому. Несли сор из избы, вместе копались в грязном белье друг друга, начинали за здоровье, заканчивали за упокой. Говорили о таких вещах, которые в том мире у тех людей будто бы совсем не случались, хотя, безусловно, случались, но запрятаны были куда-то очень глубоко, от чего, наверное, гнили там сильно.

Живя там, мне казалось, что местные и вовсе не обладали той глубиной чувств, которая могла быть у нашего брата. Глубина эта, наша, была природным свойством души, отточенным бесконечными часами бесед на тесных кухоньках, когда всё самое сокровенное льётся через край, но не покидает пределы кухонных квадратных метров, за которыми под свинцовым ноябрьским небом может долететь до уха нежелательного слушателя и обернуться оружием против самого говорившего.

Я всё пытался у них глубину эту найти, нащупать. Но не видел её ни в литературе, ни в искусстве, ни в разговорах. Её словно и правда не было, и раз за разом я приходил к заключению, что, может быть, раз с самыми близкими они говорят так поверхностно, то и чувствуют тоже так?

После возвращения, знакомства с пацанами и принятия меня в их тусе, я долгое время ещё мучился от чувства, что ни тут ни там мне не место. К пресности заграничной жизни я так и не привык, а от здешнего хождения по краю лезвия как-то отвык (оно казался мне чрезмерно истеричным, полным болезненного самолюбования). Я вернулся с опытом, куда более зрелым, чем был, когда уезжал, и многое в картине мира начало обретать ясные очертания.

Я понял, почему: если смена власти, то кровавая революция; если любовь, то до гробовой доски (всякий раз); если пить, то «до беспамятства, до бесовства»; если делать деньги, то миллиарды; если быть бедным, то жить как в собачей конуре. Во всём присутствовал «достоевский надрыв». Русский человек не мог идти по широкой безопасной дороге, ему просто необходимо было находиться на грани, балансировать над пропастью. Этим он жил.

Всё это, в моём понимании, породила окружающая природа. Ихняя стабильная дружелюбная зелень против наших скачков по двадцать градусов за ночь. Там ведь живёшь и не замечаешь лет, а у нас каждый месяц – за год. Каждый сезон – борьба. Сплошные «впервые за историю метеорологии»: рекордное количество осадков, дней засухи, потопленных домов, засыпанных снегом деревень. Если жара, то испепеляющая; если холод, то до побелевших ресниц и бровей. А у них так и проживёшь всю жизнь, слабо чувствуя течение времени, и от того, особо никуда не торопясь. Вот и получается, что внешнее вроде как формирует внутреннее. Я об этом раньше не думал, но задумался, когда вернулся домой и столкнулся с нашей природой уже не безропотным ребёнком, принимающим всё за благо, а зрелым молодым человеком, подвергающим всё сомнению и осмыслению.

«Москва купеческая разбазарена барыгами»

Путник задремал в самолёте, припав лбом к холодному стеклу иллюминатора. В желудке тяжело от пресной бортовой еды. Во рту пересохло. Шея затекла. Из вечной мглы родных широт, прерываемой редкими стутками света, выползает вдруг огромное чудовище. Его глаза – тысячи жёлтых огней, пасти-кольца, щупальца широкими лучами расходятся из тела на многие километры – туда, в безлюдную мглу леса и полей. Встреча с ним так вожделенна, ожидание так томительно. Оно – либо пересадочный пункт для следующего десятичасового полёта на край земли, либо родной дом, ожидающий, как назло, где-то на противоположном от аэропорта конце города.

Много лет потом, каждый раз, когда самолёт нырял в непроглядную пелену облаков, я припадал к запотевшему холодному иллюминатору лбом, чтобы разглядеть черты любимого, мерцающего чудовища, и, когда машина с грохотом касалась земли бешено вращающимися колёсами, я чувствовал неудержимую радость от предвкушения встречи с ним.

В этом городе негаснувших окон, он – лишь один из миллионов, наблюдающих золотое мерцание ночи по ту сторону. Сначала с седьмого этажа, потом с десятого, потом с семнадца-

того (этажи росли пропорционально моему социальному статусу). Один из миллионов, снующих туда-сюда. Эритроцит, снабжающий кровь кислородом, навеки осуждённый стать частью потока.

Одиннадцать лет в школе, шесть в универе, годы в проклятом душном кабинете на заводе или под вечным морозящим дождём. Друзья, бывшие братьями, а ставшие знакомыми. Резкое объятие при встрече, раз в полгода, где-то на родном районе, и очередное обещание встретиться/созвониться/«собрать всех наших».

Жена, которая сначала очень, а потом неизбежно как-то не очень. Дети, которые сначала только в радость, а потом как-то в тягость. Ипотека, чтобы вам было, где жить, или долгие годы прижимистого существования, чтобы скопить средства на заветные квадратные метры (метров будет не много, но всё ж своё – есть своё). Займы, долги, обязательства. А потом пенсия. И то – если повезёт и тебя не хватит инфаркт в расцвете пятидесятилетия где-нибудь на скамеечке в парке под раскидистым дубом, как хватило моего двоюродного деда, тоже академика, как и его брат, на симпозиуме в Гамбурге. Тишина европейской вялой весны вдруг стала тишиной оборвавшегося пульса, растянувшегося в тонкую линию, монотонно сообщающую о приходе конца.

Даже если и не хватит инфаркт, и ты, допустим, разделался со всеми своими проблемами – дети выросли и создали свои семьи, мирское не манит больше до головокружения, даже молодые женские тела не прельщают, и как-то так получилось, что с женой вы всё-таки притёрлись (хотя много ли теперь нужно? Человек, нужен просто человек рядом, подстраивающийся под жалкие нужды старика), и вот он – долгожданный покой. Заслуженный отдых. Только сопровождается он постоянными болями. И ты не можешь говорить ни о чём, кроме того, что у тебя сегодня болело, искать тому причины и думать, как бы это вылечить. А болит всегда всё больше и больше, и ты чувствуешь, что тело твоё, машина, которую ты воспринимал как должное, постепенно приходит в негодность.

Смерть в одиночестве или в кругу тех, кто её ждёт, потому что ты обуза или у тебя есть та самая квартира, ради которой ты экономил и целыми днями жрал картошку с солью. Да даже если и не картошку, а фуа-гра или тальятелле с цыплёнком под белыми грибами в соусе из голубого сыра и сливок: что в итоге-то? В итоге это просто гусиная печень или макароны с курицей. С годами всё становится на вкус как пропаренный рис (в лучшем случае) или того хуже – кусок картона (и такое бывает).

Казалось, что у нас точно всё будет по-другому.

Один из миллионов. Жалкая жизнь. Великая жизнь. Сколько же трагедии, сколько прекрасных моментов торжества духа, сколько боли и счастья в каждом из нас? Любая судьба стоит сотни фильмов, снятых о судьбах. В молодости ты не знаешь, что тебя ждёт, и мир кажется, распротёрся пред тобой, выпятив всё разнообразие манящих возможностей. Осталось лишь выбрать путь. Свой путь, который будет не похож ни на один другой. Кажется, что именно тебе уготовано что-то исключительное, да и всем твоим товарищам тоже, потому что они ну совершенно особенные. Ты видишь в них героев своего романа, (а себя – его автором) и упиваешься тем, что книга только началась.

Я помню это ощущение.

Представлялось, что каждый из нас обладает какими-то совершенно уникальными чертами. Заха – тот ещё продуман. Лёха – хитрый и знающий жизнь. Грач – вдумчивый и серьёзный, фигнёй не страдает. Саня – этот так точно, никогда не пропадёт. Родя – добрый, отзывчивый, «свой в доску» и так далее. Мы рассуждали об этих наших качествах и мечтали о нашем общем, великом будущем, в котором мы были то членами организованной преступной группировки, то акционерами огромной компании; мечтали о заграничных поездках всей тусой и загородных домах, которые мы построим рядом друг с другом...

Поэзия нашей молодости заключалась в том, что мы не знали, какой прозой является зрелость. Молодость отличается беззаветной верой в перспективы. Когда тебе девятнадцать, кажется, что до двадцати пяти ты найдёшь своё место в этой жизни, разбогатеешь, объедешь весь мир, женишься на красотке, построишь корпорацию.

– Я уверен, что до двадцати трёх куплю себе «Кадиллак», – сказал как-то Захар, и я был уверен, что так оно и будет, равно как, припав щекой к ледяному стеклу иллюминатора, дремля в ожидании долгожданной встречи с любимым городом, уверен был, что «Кадиллак» – это меньшее, что меня ждёт.

– А я матери ремонт хочу сделать, – сказал Саня, – а себе хату купить в центре, как те, что мы видели, помните? За забором с туями, в доме из красного кирпича, с охраной, поняли? Двухэтажная хата, чтобы второй этаж был под крышей, с покатым потолком и окошками на небо.

– Ну ты загнул, Сань, знаешь, сколько такая стоит?

– Да пох**, заработаем! – Саша громко хлопнул в ладони – Дело за малым!

За малым... Да. Тогда нам казалось, что мир у наших ног. Лежит, готовенький, выставил напоказ все свои прелести, можно никуда не торопиться, чтобы ухватить себе кусок сладкого пирога. Казалось, что не в образовании дело, не в связях, мозгах, хитрости, ушлости и пошлости (последнее, пожалуй, так нужно и важно в наше с вами время), а в каком-то внутреннем стержне, который каждый в себе нащупывал.

«Главное – решать по жизни», – говорили мы. Я так и не понял, что значит «решать», потому что в действительности решали мы только, чем убиться на этот раз, у кого вымутить и где потом зависнуть. Все дни проходили по одному и тому же сценарию, все разговоры вертелись вокруг одних и тех же тем, но всем казалось, что жизнь бурлит, и наши приключения – лишь начало волшебного путешествия длиною в жизнь. На деле же – мы шли по дорожке, ведущей примерно в никуда. По будням – мысли только о куреве, по выходным – что повеселее. Кайф был неизменной основой нашего досуга.

Покупать наркоту – то ещё удовольствие. Денег нет, барыги падлы, вес маленький, вставляет ненадолго, да ещё и лето по большей части холодное))). Каждый новый день сулит старое доброе. Мысль «где бы намутить» идёт фоном к привычным утренним ритуалам, дневным хлопотам, вечернему досугу. Мысль эта, как вращающаяся надпись на заставке режима ожидания Windows 98, вертится, вертится, бесконечно ударяясь о края и закручиваясь по запрограммированному сценарию. И ты уже знаешь, как всё будет (надпись ударится о верхний левый угол экрана, развернётся зеркально и полетит к нижней кромке, чтобы удариться, развернуться вновь в изначальную надпись и полететь к правому борту).

Где бы намутить? Ты позвонишь, нетерпеливо выслушаешь монотонные гудки, они оборуваются короткими прерывистыми сигналами, означающими, что этот номер в ближайший час лучше не набирать (но ты не оставишь попыток, вновь и вновь повторяя заветную комбинацию цифр, пока не услышишь раздражённое «алё, чё надо?» на том конце провод. Раз взял, значит есть шанс). А дальше ты либо действительно обламываешься и снова начинаешь набирать заветные номера из списка контактов, либо радостно кружишь по району в ожидании встречи, пытаешься согреть руки, онемевшие от десятиградусного мороза.

В общем, вполне логичным было иметь «своего барыгу» в тусе. Эту роль с удовольствием взял на себя Захар. Это было в его духе. Лёгкие деньги, всегда при куреве и некое властвующее положение в компании, не требующее при этом умственных затрат. Одно «но» только. Торговля гашишем – так себе занятие. Не слишком прибыльное. Сам скуриваешь половину, друзьям «кропалишь», а остальных, получается, дуришь. Навар по итогу маленький, а риск большой, ибо в нашей стране за маленький вес дают далеко не маленький срок. Заха, конечно, строил из себя гангстера, ходил с двумя трубками, отходил ото всех, когда раздавался звонок на

одну из них – старенький простенький чёрно-белый телефончик, и постоянно всячески акцентировал внимание на том, что он торгует, рискуя всем, а мы только и рады этим пользоваться.

Откровенно говоря, большинство считало, что затея была поганая, потому что свободный полёт в этом деле – лишь вопрос времени. Иногда мы говорили ему об этом (признаться, не слишком часто), на что он только ещё больше корчил из себя бесстрашного мафиози, который встал на преступный путь не по прихоти, а волею тяжёлой судьбы. Не знаю, чем тяжела была его судьба. Он спокойно мог устроиться на нормальную работу, коли не учился. Да что уж там – мы все могли, но не шли же. Балбесничать было приятней, а он, получается, на этом безделье ещё и «подрабатывал».

* * *

Московские улицы были завалены дерьмом на любой вкус, но люди упорно отказывались это видеть. Начиная с Власти, которая ничего не предпринимала, заканчивая родителями, не желающими верить, что их драгоценное чадо «старчивается». Все будто бы сговорились не замечать подростков на спидах, снующих по району от заката до рассвета, не замечать лестничных пролётов, на каждом из которых припрятана закопчённая бутылка (может, матери были просто рады, что не шприцы, как раньше?) Не было и тех, кто жрёт «колёса» в клубах, нюхает кокс вечерком после высокооплачиваемой работы, и совсем не было тех, кто от всего этого скатился к тому, что ставится под колено: в бицепс или пах.

Город явно делился на тех, кто упорно решил всё происходящее дерьмо вычеркнуть из своей жизни, и тех, кто в нём варился. На жителей дня: отцы семейств, мамашки с колясками, хорошисты, учителя, физкультурники, ЗОЖ-ники и ПП-шники, иногда менты и врачи – законопослушные и тихие, чьё существование сливалось в бесконечную какофонию городской суеты; и нас – жителей ночи, прожигающих самое дорогое, что у нас было, – свою молодость.

Голоса наши наполняли тёмный город тихим, шипящим, мешающим спать или, наоборот, убаюкивающим шумом, лишь иногда прерываемым рёвом мотоциклетного мотора, который всегда запаздывает за самим мотоциклом, пронёсшимся по освещённому шоссе за несколько сотен метров от спящего человека. Он был так громок, что неизбежно будил, и человек вздрагивал всем телом, вмиг пробудившись ото сна, и долго чертыхал водителя.

С заходом солнца жители ночи потихоньку выползали из берлог, бродили по улицам в ожидании живительного сияния луны и лишь с его приходом пускались во все тяжкие. Случайно забредшие в ночь жители дня, быстренько семенящие в свои норки, опасливо поглядывали по сторонам, ёжась при нашем приближении, услышав шуршание наших подошв за спиной. Они прибавляли шаг, изо всех сил стараясь не сорваться на бег, отгоняли от себя неприятные мысли о природе нашего бытия. Кто знает, что у нас на уме? Вдруг нам зачем-то может понадобиться загнать нож меж рёбер прохожему? Ведь свет луны – время свободных духом, выбирающих быть здесь и сейчас, увлечённых и никогда не думающих о последствиях, а следовательно, потенциально опасных. Мы же всегда замолкали и ускоряли свой шаг ради потехи.

Иной раз, выйдя из сумрака под тусклый свет фонаря, встретишься взглядом с таким же, как ты, жителем ночи, приветственно улыбнёшься ему, будто вы оба знаете одну тайну на двоих (ведь не одним только светом луны ночь свела вас в эту минуту...) Рукава спортивных курток едва соприкоснутся, и ты навсегда простишься с незнакомцем, оставив образ на растерзание памяти, которая сотрёт его этим же утром, как стирает она добрую половину событий каждой ночи, прошедшей в угаре. Беспамятство составляло особую сладость, ведь в нём можно было спрятаться от дневного света, требующего ясности всей твоей жизни.

Вроде бы каждый сам решает, как ему жить. Но так ли волен человек? Пацаны попадают в движуху, и она затягивает как омут. Очень скоро начинает казаться, что вокруг все употребляют, как минимум курят траву. Кажется, что курить – это вообще нормально, а вот не курить

– это уже как-то странно, и те, кто не курят, – явно люди жизни не знающие и являющие собой такое меньшинство, что не стоит о них даже и думать.

Это естественно. В восемнадцать-двадцать лет невозможно охватить пониманием такое большое общество, как многомиллионный город, конца и края которого не видно даже из окон самого высокого небоскрёба. Представление о нём ты составляешь по маленькому болотцу, в котором обитаешь сам. Мы запрыгиваем в него по собственной воле, потому что видимые границы дают ощущение безопасности. Рецепт жизни, по которому вы живёте в небольшой экосистеме, кажется применим ко всем за её пределами. Наверное, именно поэтому так тяжело выбраться из бедности, из общества маргиналов, алкоголиков или скучных интеллигентов.

Кажется, что другого попросту нет. Может, и правда все употребляют? Я пытался оценить «масштаб трагедии», смотря на своего пятидесятилетнего соседа, который не бухал, а значит, точно употреблял (если и не сейчас, то в молодости – сто пудов). Смотрел на миловидную Анечку (имя на бейдже кассирши в «Перекрёстке»). Она уже знала меня в лицо и, увидев в очереди, скромно улыбалась, потупив взгляд на ползущую ленту, заставленную продуктами. В ответ на её улыбку я говорил: «Привет, как день?» Она смущалась ещё больше и что-то лепетала в ответ, я складывал продукты в пакет, размышляя о том, курит ли она гашиш, ну, или не отказалась бы покурить со мной, если бы однажды я ей предложил? Смотрел на дворника Сабека, которого моя бабушка гоняла по двору, заставляя убрать «ещё вот тут» и «вот там», периодически доплачивая ему, чтобы он потщательней помыл плитку в подъезде, выбил нам ковры или не затягивал с покраской заборчика по весне. Он точно курил, потому что «у них там», по-любому курят чуть ли не с рождения (судя по британским арабам).

«Да что весёлого-то без курева и алкашки? – частенько говорил кто-то из нас. – Вот, пацаны, помните, как в детстве было. Выбежал во двор и не надо ничего больше!» Да... Так оно и было. Когда-то у нас была дача: небольшой деревянный домик, красивый участок с лилиями и пионами, был даже прудик, у бабушки был парник, там остро пахло созревающими помидорами и тяжело дышалось.

Я очень хорошо помню, как мы с местными пацанами целыми днями пропадали на улице. Ходили на речку купаться, ловить рыбу, прыгать с тарзанки. Или строили плот на озере, на нём можно было играть «в шторм», представляя себя мореплавателями. Мы гоняли мяч, и просёлочная дорога виделась нам огромным футбольным полем. Пыль стояла двухметровым столбом до самой ночи, и я возвращался весь покрытый ею, со скрежетом песка на зубах, и бабушка ворчала и велела мне подойти к зеркалу, чтобы «полюбоваться на себя». Я смотрел и не видел ничего такого, просто кожа стала чуть темнее, от неё пахло солнцем.

Меня ставили в алюминиевый таз с горячей водой, практически кипятком, обжигающим ноги, и поливали сверху ковшом. Я трясся от холода, когда горячая вода стекала, оставляя мурашки по всему телу. Дуновение июльского ветерка казалось январской стужей. Когда я стал старше, меня отправляли в душевую кабинку на участке, на крышу которой была приделана бочка; домой я возвращался поздно, вода успевала остыть, и я долго готовился, стиснув зубы, прежде чем повернуть краник на смесителе.

Тогда же, маленьким мальчиком, стоя в тазу с остывающей водой, я только и ждал, что окончания купания, когда взрослые вытрут меня старым голубым полотенцем (и почему на даче старые вещи обретают новую жизнь, вместо того, чтобы быть выкинутыми на помойку?) – оно было всё в дырках, по краям торчали нитки. Такое же страшное, как и старый посеревший металлический таз, в котором я стоял, пластиковый ковш с трещиной, продавленный диван, на котором дед читал газету.

Пытка закончится, мне велют надеть пижаму, разрешат выйти на веранду, напялив поверх старый дедов бушлат, ещё времён его службы во флоте, который был мне по колено. Я буду сидеть вместе со всеми, пьющими чай и разговаривающими на не интересные и не понятные мне темы, и медленно хлебать остывающее молоко, чтобы подольше не отправляли спать.

Стрекот кузнечиков в высокой траве, притихшая зелень нашего сада, ароматы бутонов, умытых росой – непроглядно-чёрная летняя ночь.

Перед сном дед звал меня к парнику смотреть на звёзды и рассказывал про созвездия. Он много чего рассказывал. Про прошлое, будущее, Советский Союз, про репрессии, освоение космоса, олимпиаду. Про то, как всё должно в жизни быть и как не должно. Бабушка сердилась, что от его рассказов я буду беспокойно спать, а мы переглядывались, хихикая над её ворчаньем, пока она шла к нам по тропинке, переваливаясь с ноги на ногу, чтобы забрать меня спать.

Ночевал я на втором этаже, в просторной комнате стариков. Моя кровать стояла в углу, под ней так и стоял эмалированный ночной горшок, весь покрытый пылью, ведь я давно уже был в состоянии спуститься в сад и добрести до вонючей деревянной кабинки (бабушка ругалась, что не добредал). Я ещё долго лежал, разглядывая рисунок на грубом на ощупь ковре: тройка несётся по ночному заснеженному лесу, преследуемая волками, и долго не мог уснуть, стараясь измерить умом неизмеримое и объять необъятное.

Ты быстро забываешь, как было раньше, и быстро принимаешь новый образ жизни, оправдывая себя тем, что лучше уж употреблять, чем бухать. Да. Наши постоянные рассуждения, что алкоголь – это вот чистое зло, и «мы же не колемся... так... забавы ради». Только на самом деле мы бухали всё больше, употребляли всё чаще, отхода со временем становились всё тяжелее, и пацаны садились на разного рода дрянь всё плотнее и плотнее.

* * *

Любое восхождение начинается с первой ступеньки, с подножия горы, с нулевого этажа (ground floor – говорят англичане), и каждый раз ты путаешься, надо ли тебе на первый или на второй. Наркоторговля – так себе бизнес, если ты в самом низу лестницы. Большинство так внизу и остаётся, выше идут только те, кто поборзее.

Ступеней не так много, как кажется. Самая верхушка олимпа – силовики. Основание шей двуглавого орла. С их покровительства наркотики привозят в Россию из стран Золотого полумесяца, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Европы и Китая. Тонны дерьма разлетаются по крупным наркоторговцам, от них барыгам поменьше, а те, в свою очередь, сбывают пацанам, которые бегают по районам с граммами. Примерно так. Достать товар на продажу можно либо при личной встрече, либо через закладку. С развитием даркнета второе полностью исключило первое. Но я застал времена, когда мусорские дроны не летали ещё над лесами и пустырями, всё подчинялось правилу: «меньше технологий – меньше проблем».

Захар – был самым маленьким звеном этой цепи, а Саня – покрупнее. Они с братом минували первую ступень, сразу решив вложить накопленные средства в крупную партию. Спрос на такой товар всегда превышает предложение, и проблем со сбытом не возникало, главное – включить мозги. Парни башковитые, схемы придумывали интересные. За несколько лет в деле они освоились, почувствовали себя хозяевами в отведённой им нише, организовали свою сетку барыг и курьеров на закладках, работающих с лёгкими дешёвыми наркотиками, а на продажу серьёзного товара (типа кокаина) зарегистрировали ИП: маленький таксопарк на две машины.

Клиенты с улицы приходили редко, рекламы не было, зато среди «нужных» клиентов сервис пользовался спросом. Кодовая фраза и нумерация дома обозначали вид наркотиков и количество в граммах. Реальные адреса числились в базе, такси приезжало к нужному дому, делало небольшой кружок по району/ высаживало перед клубом/дверями дома любовницы, жаждущей порцию сладкого кайфа. Быстро и удобно. Бесплатная поездка – приятный бонус)).

Налоги с таксопарка исправно платились, во всех реестрах он числился и, потому, поэтому братья спокойненько проводили через него часть левых доходов. То была их первая серьёзная схема, разросшаяся до водителей-курьеров, огромной базы именитых клиентов и крыши из числа высшего офицерского состава.

Крыша – самый важный вопрос в этом бизнесе. Без крыши в структурах соваться на рынок не стоит. В нашем государстве наркоторговля карается жёстко, а наркомания презирается теми, кто по ту сторону закона.

Хотя о какой стороне закона можно говорить в реальности, вылезшей из пятнадцатилетней эпохи беззакония? Совершенно непонятно – кто на какой стороне находится и для кого его пишут. Если какой закон и действовал, то закон джунглей: правда за тем, кто сильнее, хитрее и смелее. В нём была какая-то дикая, природная справедливость, близкая мужскому естеству.

Я чувствовал свою слабость перед теми, кого эти джунгли взрастили, и слабость моя заключалась в наивности, в привычке уповать не на свои силы, а на силу писанного правила, бывшего на родине не более, чем пережитком прошлого, как забвенные индейские пирамиды в джунглях Амазонки, находящиеся во власти диких обезьян, а не тех, кто их строил.

Надо закрыть статистику? Подкинь районному наркоше серьёзный вес. Заодно и глаза мозолить не будет. Наркоманам – не место в нашем обществе. Поймать и поиздеваться над наркоманом – так, развлеченьице для ребят в погонах, а что касается работы, то охота ведётся в основном на пешек. Исполнительной власти не нужно решение проблемы, ей нужны сухие цифры и бабки, поэтому «продавцов счастья» покрупнее куда выгоднее крышевать и стричь с них еженедельно.

Статистика закрывается осенью и весной, именно тогда большинство предпочитает залечь на дно, на районе голяк. Голяк сразу видно. Пацаны стайками снуют по улицам, чувствуется всеобщая нервозность и суетность. Стайки сталкиваются лбами на углах домов и задерживаются на несколько минут, чтобы узнать друг у друга – «не появилось ли чё». Голяк накаляет обстановку, частенько случайные встречи заканчиваются стычками. Да ещё погода в эти месяцы не располагает к оседлому загородному отдыху с алкоголем или безмятежной суете у лавочек, как в знойные деньки, когда больше вместо шмали хочется холодного пенного.

Впрочем, очередь в ночном, где из-под полы круглые сутки торгуют градусом, от этого не меньше. Пухлая продавщица в переднике и пилотке тёмно-зелёного цвета, с фиолетовыми волосами и такими же тенями на веках окидывает вошедших подозрительным взглядом, который будто бы способен определить – местный ли ты или засланный казачок (всех местных она знала в лицо, но не избавляла себя при этом от удовольствия быть упрошенной или убажённой комплиментами, шоколадками или даже мздой).

Особо борзые в это время отлично навариваются, но в большинстве случаев чуть ли не весь заработок отдают тем же ментам в качестве откупа от срока. Даже барыги покрупнее в это время пропадают из поля зрения. Они прекрасно понимают, что в их деле никто не руководствуется принципами чести, слово ничего не весит, вчерашний партнёр сегодня может уже шить на тебя дело. Джентельменский договор между людьми, далёкими от джентльменства.

Если честно, я не знаю, зачем нам было всё это. Не могу сказать, что нам было как-то плохо без гашиша. Мы могли делать всё то же самое. Бухать, в конце концов. Тем более, если погода позволяла. Но всё равно чего-то не хватало. Мысли о нём не оставляют в покое. Ты всё вертишь в руках телефон, периодически сверяясь, не высветился ли на экране заветный пропущенный звонок. Ну, появься эта дрянь в ту минуту, ничего ведь не изменилось бы! Ну, встретились бы, накурились, и точно так же бродили бы туда-сюда по району!

Поначалу, первые месяцы, прёт сильно, пробивает на ржач, на улицу не выйти в таком состоянии. Тебя всего расплющивает в лепёшку и сжимает в точку. Происходящее наделяется иным смыслом: полная путаница в секунду оборачивается кристальной ясностью – и обратно. Голова свинцовая, а глаза – те вообще не открываются почти... но, боже мой, думаете, кто-то вообще помнил эти ощущения пяти- или десятилетней давности? С годами дым лишь накрывает мутной пеленой разум, жутко хочется спать. Вот и всё. Прикольно. Но в этот момент ты, откровенно говоря, тупишь, совершенно невозможно с тобой построить основательный диалог.

В дорвавшейся до кайфа стайке всё сводится к длительному молчанию, прерываемому двусложными словами и редкими, ничего не значащими смешками. Из раза в раз один и тот же сценарий: ждёте, мутите, курите, тупите. Радости дурь нам не приносила, но была чем-то вроде основы нашего общения, а потому так значима для каждого. Она отпускает, и вы возвращаетесь в действительность, где и говорить-то не о чем, вам как-то неловко друг с другом, хочется чем-то заполнить пустоту меж вами, и вы сбегаете в эту круговерть: мутите, долбите весь кусок за раз и, уставшие от него, расходитесь по домам до следующей встречи, которая вновь начнётся с того, что вы будете обсуждать, где «намутить»... И так по кругу до бесконечности.

Бездарь хлебал от жизни барыги сполна. Постоянный страх, словно попятям, преследовал его всякий раз, когда наркотики были при нём (а было это почти всегда). Конфликты с местными пацанами. Хоть Захар и пытался изо всех казаться сорви головой – не был он таким уж откровенным отморозком, чтобы всерьёз торговать наркотиками. Несколько раз он пытался завязать с продажей, на некоторое время находил работу, но потом вновь вспоминал, как легко можно мутить те же деньги, что и ишача мерчендайзером, грузчиком, курьером, продавцом, официантом и т.д. Лёгкий заработок манил его, и он снова возвращался «в бизнес» – как говорил он рисуясь.

Начиналось всё с продажи «только своим». Так всегда происходит. Потом свои ручаются за кого-то, и ты продаёшь им. Потом эти берут твой телефон и дают его третьим. Третьи без стеснения звонят в три часа ночи. Для них – ты просто продавец радости. Продавец «говна». Ты не можешь уже отказать, потому что алчность выше инстинкта самосохранения. Вот и Заха незаметно для себя, раз за разом быстро переходил все эти черты, становясь мелким районным барыгой.

Это был лёгкий путь, но Захар не был слабым человеком. Нет, напротив, в нём был стержень потолка нашего. Он гонял на выезды за «Спартак» со своей околоспортивной бандой, участвовал в фанатских стычках, осваивал единоборства, занимался уличным футболом и даже организовал дворовую команду. Он обладал авторитетом среди пацанов, и даже старшие держались с ним на равных. Наверное, в жизни его ждал бы успех, будь он чуть поумнее и способнее поумерить свой пыл. Взрывной темперамент толкал его на безрассудства, в общении он легко срывался на крик, веселье непременно заканчивалось агрессией или унынием, и во всех его действиях чувствовался надрыв, по вине которого удача обходила Заху стороной. Уже тогда я уяснил, что везёт зачастую людям добродетельным. Захар же был корыстен и властолюбив, что выливалось в ссоры, недомолвки и отдаление с людьми, которые вроде совсем недавно его любили и уважали.

Как я потом узнал, семья его была, очень бедная, отец любил приложиться к бутылке, а мать из тех женщин, что давно уже приняли обстоятельства своей жизни как нечто, что нельзя изменить. Он никогда к себе не приглашал, но как-то раз я мельком видел его хату и ужаснулся: разруха, темень. В его комнате ещё более-менее, а в остальных – жуть, как всё бедно. Мы зашли ненадолго, и я нутром чувствовал, как ему неловко, хоть он и старался изо всех сил не подать виду. Тогда многое сразу встало на свои места. Почему он с лёгкостью решался на большой риск, почему заискивал перед ребятами из более обеспеченных семей. Почему изо всех сил пытался показать, что он ничем не хуже других. Конечно он был ничем не хуже! Какая глупость – судить человека по достатку его родичей, но разве объяснишь это горячему молодому парню, всю свою жизнь чувствовавшему, что есть то, что отличает его от большинства в школе и во дворе, живущего пусть даже средне.

Это толкало его на всякие авантюры, зачастую довольно сомнительные. И на футбол ставил, и телефоны в школе воровал, за что стоял на учёте в детской комнате милиции (родители и классная упростили тогда не заводить на подростка уголовное дело), и в магазины залезал с какими-то в конце отпетыми пацанами, и ни старался, постоянно возвращался к торговле дурью.

Все это было не слишком разумным и раз за разом заканчивалось плачевно, от чего его и прозвали Бездарем. Хотя о происхождении прозвища ходили разные истории. Во-первых, оно довольно созвучно с Захаром. Ещё кто-то рассказывал, что в школе его так однажды назвала учительница по математике, с тех пор и прицепилось. Сам он иногда шутил (стоит признать в нём приятное качество – способность к самоиронии), говоря, что «как корабль назовёшь – так он и поплывёт», и была в этом доля правды. У него всё как-то бездарно получалось. Хотел поступать, на экзамен обществоведения пошёл нанюханный, думал, что напишет гениальное эссе, а в итоге получил едва ли удовлетворительный бал. После экзамена рассказывал с гордостью о своём отчаянном трипе: «Время заканчивается, я уже всё написал, что хотел. Смотрю – и, бл***, я на весь разворот пишу, прикиньте? То есть строка на одной странице начинается, а на другой заканчивается! И так вот, прям две страницы – с одной стороны, две – с другой». Вот уж не знаю, что о нём подумали люди, которые это проверяли, но бал был такой же низкий, как и по другим предметам. Именно поэтому Заха пошёл в армию после школы, попал в морскую пехоту, отслужил год и вернулся за пару месяцев до того, как прилетел я.

Вот всё у него так получалось. Начал рисовать с Ваней – и сразу ввязался в историю с краденой краской, которую они с каким-то чуваком пытались впарить «граффитчикам», но те оказались не просто в курсе кражи, но пострадавший был ещё и их товарищем, да ещё и с батеи из ментов, поэтому Заха в итоге получил условку и прилично отхватил от своего здорового, как бык, бати, к которому он с детства испытывал только два чувства: отвращение и страх.

В этот раз никто уже не слушал его увещевания, что он «только для своих», и все лишь ждали, когда всё вновь скатится к тому, что он будет гонять на Восток за брикетами на релиз всему району. Хоть и считалось, что барыг никто не уважает, мы все помалкивали, так как каждый осознавал прямую выгоду иметь «своего» продавца в компании. И, кажется, именно поэтому ему многое прощалось.

Мне, если честно, он никогда не нравился, но я не раз ловил себя на неприятной мысли, что братаюсь с ним много больше, чем искренне чувствую на то желание, лишь по одной очевидной причине. Заха частенько забегал ко мне, иногда я брал у него кусок, иногда он накуривал меня парочкой плюх бесплатно, особенно если я выносил с собой какой-нибудь вкусный хавчик, купленный заботливой бабушкой: дорогое швейцарское мороженое или шоколадки с колой – самое то после гашиша.

Я прекрасно видел, что он часто был неправ, перегибал палку, хамил и срывался на откровенные оскорбления. В такие моменты Заха был мне особенно неприятен, даже если я не был его жертвой. Как и все, закрывая на это глаза и помалкивая, где-то внутри себя я отыскивал оправдание двуличию, но как бы ни старался, не мог заглушить скрипучий голос совести, свистевшей мне в ухо: «Лицемер ты, брат, лицемере-е-е-ер!»

#

– Как-то оставался у него последний, довольно большой кусок, который Заха решил продать нашим пацанам по цене двух. Пришёл он в подъезд к Роде, пацаны встали на лестнице у окна, и как-то так получилось, что гашиш, завернутый в фольгу и слюду, запаянную зажигалкой (говорили, так собаки не унюхают), выпал у него из заднего кармана и улетел на два пролёта ниже. Рыжий, поднимаясь, его нашёл, втихую развернул, увидел, что кус большой, отщипнул от него ломоть себе, а остальное предложил парням скурить на халяву, и всё, что они не скурили, впарил потом Захе за двести рублей, хитро при этом подмигивая пацанам, пока тот, изводясь, шарил по карманам. В итоге Бездарь ещё и спасибо сказал...#

– Так и что? – спросил я. – Он не понял, что ли, что это его кусок был?##

– Ну не понял конечно! – ответил мне Саня со смехом. – Он ещё такой, типа: «Бл*, пацаны, я гар про**ал. Давайте искать». Мы ржём, а он не понимает. Говорим: «Ну, купи у Лёхи, что осталось, хоть дома покуришь, у нас всё равно денег нет, а у тебя же есть по-любому,

ты же теперь всегда при бабле». Да эта крысятинна на тебе в первую очередь наварится, – добавил Саня, увидев мой скептический взгляд и как бы оправдывая тогдашний их поступок.

* * *

«Ну и какие ощущения ты испытываешь?» – спросил я, с интересом наблюдая за Саней в один из последующих вечеров.

– Ну-у, бл*, знаешь, сложно описать. Ну всё такое... совсем другое, понимаешь. Будто ты был слеп, а сейчас прозрел. Всё было искажено, спрятано от твоих глаз, а теперь ты увидел мир во всей красе. Очень глубокие цвета. Поразительные, понял? Ты будто наконец увидел то, что должен был, понял? Всё меняет свою форму и очертания. Меняет свой смысл и предназначение. Это вскрывает, понял? Хрен знает, сложно объяснить. Но ты видишь суть, вот в чём штука... –он не сводил глаз, словно ставших зеркальными, с одному ему ведомой точки где-то у крыш панелек, замерших в ночи.

– Прико-о-ольно...

– Вот, свет фонаря... Это не просто свет! Этот тот же свет, что и у солнца, у них одна природа, как вещи из одной ткани. И свет прекрасен тем, что он даёт людям жизнь, да и не только людям. Без него ничего не будет расти, понял?

– Ха, норм ты задвинул))).

– Да... Прикол в том, что мы всё это видим и вроде как знаем, но только под кислотой ты до конца понимаешь суть вещей.

Я задумался. У Сани с Ваню были совершенно безумные глаза. Чернь зрачков поглотила почти всю радужную оболочку, и глаза обратились в слепые зеркала, способные лишь отражать внешний мир, скрывая при этом внутренний. Я гадал, что там внутри, но на лицах застыла одна лишь бессменная эмоция – безумный восторг.

Реальность крайне относительная штука, понимаете? Вот что я понял в то лето. То, что видели пацаны, было так же реально, как и то, что видел я. Их чувства работали с другой силой, но сохранили свои функции. Все окружающие предметы изменили свои очертания. Все ведомые испокон веков истины обрели иные смыслы. И всё это было реальным. Всё это совершенно точно было реальным.

Приходы называют «состоянием изменённого сознания», но, испытав приход, ты понимаешь, что именно сознание делает этот мир существующим, и если реальность изменчива даже в своей самой грубой форме осязаемой материи, что уж говорить про тонкие понятия чувств и эмоций? Что хорошо для одного – для другого плохо. Там, где есть любовь одних, неизменно есть страдание других. Что правда для меня – для Вас может быть ложью. И люди всю жизнь копошатся в этом дерьме, пытаясь дать чёткие определения, навесить ярлыки, занять чью-то сторону, понимаете? Тогда как ответ прост! Всё относительно, совершенно невозможно охватить ограниченным умом безграничную картину бытия. Важно лишь то, что происходит в узеньком мирке твоей головы. Только внутри неё – истина, реальность, сущее. Остальное – лишь игра воображения и домыслы.

В тот вечер я поймал себя на коварной мыслишке о том, что хотел бы как-нибудь увидеть мир их глазами. Я сразу отогнал её от себя как назойливую муху. Мол, ерунда это всё, зачем мне это нужно, мне и так хорошо, я и так уже скатился до курева. «Скатился» – смешная формулировка. Она рассмешила меня тогда, ведь до того лета я считал таких, как мои новые друзья, полными отморозками. Общение с ними было чем-то необъяснимым для меня, совершенно мне не подходящим, неожиданным, но я не в силах был остановить происходящее... Всё было так ново... И, как всё новое, так манило!

* * *

В иные погожие летние вечера мы развлекались тем, что брали с собой портфели с краской, маркерами, курёхой и пивасиком и ехали в центр – рисовать, долбить и гулять до утра. Мы были не ахти художниками, поэтому до красок доходило редко, только совсем уж в беспалев-

ных местах, да и то – рисовал в основном Ваня, остальные были либо на подмоге, либо стояли на стрёме. Другое дело – изрисовать все встречные вертикальные поверхности чёрными толстыми маркерами, оставляя там свои заковыристые погоняла. Не совсем искусство, но определённый драйв есть.

Так могла пройти вся ночь: мы пили пиво, убегали от ментов, бродили по городу в поисках укромного местечка, чтобы покурить. Зброшки, подъезды, крыши, пожарные лестницы, укромные скамеечки, спрятанные точно такой же дворовой зеленью, что и у нас на районе.

Душные московские ночи пьянили, оранжевое небо над головой всё не могло отпустить солнце на покой. Мы же не могли успокоиться и отпустить эти редкие жаркие ночи из лап своей наглой молодости. Хотелось оторвать каждую секунду и запихнуть её глубоко в сердце воспоминанием, которое никуда оттуда не денется, всегда можно будет достать его в минуты, когда всего этого не будет и в помине, и украдкой полюбоваться.

Где я буду? Кем я буду? Вспомню ли я? В моменте всё кажется таким значимым, но, как только настоящее становится прошлым, всё исчезает. Прошлого ведь больше нет, а будущее ещё не наступило, есть только момент «сейчас», в котором мы были просто обязаны раствориться без остатка.

Прошлое... Прошлое...

Закрывается на засов.

В нижнюю чашу песочных часов

Свалено всё старое.

Мои панели хранят ночные ангары.

Время идёт,

Время идёт вперёд,

Время летит,

Время окстит.

И прошлые темы в лету канули.

И сегодняшний день рано или поздно будет забыт.

Летят года,

Летит мой рэп с измазанного синей пастой листа.

Старые фотки стали памятными медалями,

Те слова, что метали мы...

Подавись, мразь, моим самым дерзким куплетом.

Пусть дёрнутся в момент бита удара

Те, кто остались преданы старому.

Выдадут самый правильный звук бронхи,

Что закоптились гарью давно...

(ЧЭ, Гуляй Рванина, 2009)

И вот мы – пацаны с окраины. А вот этот город. Мы в нём совершенно чужие, но принадлежим ему.

Как паразиты в кишечнике. Мы взращены флорой, но вредим ей. Мы чувствуем себя на своей территории, но вы отвергаете нас, стесняясь своего естества, подразумевающего наше существование.

Всю ночь мы бродим по центральным районам города (на следующий день ноги болят так, что ты, вроде молодой и сильный, еле поднимаешься с кровати) и стараемся испортить идеальную картинку, испещрив её чёрными надписями. На следующий день коммунальщики выбьются из сил, пытаясь стереть вымышленные имена. Сколько бы они не старались, следы нашего существования останутся на глянцевах щеках города блеклыми призраками грязных пятен с едва различимыми контурами, потому что «HARD TO BUFF» ничем не сотрёшь.

Паразиты вредят организму, хоть и являются его частью. Достояние истории, объекты культуры, национальная гордость – им плевать. У них есть привилегия – остаться незамеченными под покровом ночи.

Вокруг нас горят окна жилых домов, и мы заглядываем в них, подтягиваясь, зацепившись руками за нижний край металлической решётки первых этажей, или забираясь по старой пожарке. Красивые люстры, картины на стенах, итальянские кухни, немецкая техника, лепнина под потолком высотой в четыре метра и струящиеся невесомые шторы – всё это так притягательно и изысканно. Чуждо и непонятно. Всё это – не более чем обрамление нашего весёлого алко-наркотического трипа.

Невозможно было поверить, что вот на этих улицах: Ордынке, Остоженке, Пятницкой, Мясницкой... живут люди. Что жизнь их полна совершенно не известными нам, но такими обычными переживаниями. Они так же из-за чего-то огорчаются, тоже радуются простым земным вещам: успеху, удаче, новой вещи, новому человеку, новой связи. Дружба, любовь, рождение. Отрочество, юность, зрелость. Сила и здоровье. Они так же скованны простым человеческими несчастьями: неоправданными надеждами, разочарованием, предательством, болезнями, старостью, смертью. Всё это есть в их жизнях, но на нашем празднике молодости не было места размышлениям о силе судьбы и времени над всем сущим. Не сейчас, не в эту минуту, когда электрические огни сверкают золотом, и эти горящие окна – лишь декорации к нашему представлению о жизни, не имеющему право на изъясн.

*А я все жду электричку на Вешняковском перроне,
Пока какой-то пидорочек рассекает на «Бугатти Вейроне»,
Надо мной лишь небо в закате,*

А у него только мечта о короне.

Я знаю точно одно, что от судьбы ни у кого нету брони.

(ЧЭ, Магу, 2009)

Утренняя роса приносит свежесть, солнце только-только просыпалось и озаряло небо, делая его едва голубым, почти серым. Между затихшими звуками ночи и не проснувшимся ещё шумом дня наступала недолгая тишина, в которой город словно замирал, выдыхая перед тем, чтобы вновь вдохнуть и пуститься во все тяжкие грядущего дня. Эта тишина и этот свет, аккуратно пробирающийся меж высоток, возвещали о том, что пора сматывать удочки и топтать к ближайшей станции метро, чтобы вернуться на родной район и рухнуть спать до самого вечера, когда уже остынет раскалённый асфальт и воздух наполнится его терпким земляным ароматом.

С рассветом откроется метрополитен, звенящие троллейбусы начнут свой бесконечный ход по закольцованным маршрутам. Стрекочущие трамваи и пыхтающие автобусы откроют двери, чтобы принять первых пассажиров. Мы выйдем из подземелья на нужной станции, дождёмся автобуса до нашего района и займём самые прикольные места (в сторону центра он едет набитый людом, обратно – пустой). Быстро взошедшее солнце зальёт салон и заставит щуриться. Похмелье веселит ещё больше опьянения – мы ржём надо всем подряд, шутим, шуточно боремся друг с другом, кричим на весь салон.

Если случится кому-то оказаться на этом рейсе, он изо всех сил постарается не давать о себе знать, избегая внимания таких недоброжелательных с виду ребят, как мы. Будь мы пьяны – наше появление действительно не сулило бы безобидному пассажиру ничего хорошего. Но в такие вот усталые утренние часы, когда прогулка была удачной (менты нас так и не поймали), продуктивной (изрисовали кучу стен) и весёлой (все были на одной волне), мы вообще не обращали ни на что внимания, громко и весело обсуждали свои темы или молча упирались лбом в стекло, наблюдая как тянутся мимо пейзажи утреннего города

Автобус медленно забирался на огромный путепровод нависший над клубком извивающихся железнодорожных путей. Мост этот превращал проспект в шоссе и приводил поток машин прямо на ранчо. На самом пике его гигантского горба, если посмотреть вправо за окно,

видна будет полоса леса. Там, над кромкой тёмно-зелёных верхушек небо хранит всё самое сокровенное, скрытое от глаз обывателей: нежный остаток персикового рассвета; яркую жёлтую полосу последних солнечных лучей; редкие, сияющие звёзды и белоснежную луну; грозовые облака или дым, поднимающийся из красно-белых, тонких, как сигареты труб – застывший клубами на морозе или едва видный, невесомый в жару.

Ты не увидишь это из своего окна, если живёшь в обычной панельке, а не небоскрёбе, но здесь, на мосту, тебе открывается чуть больше, чем кому бы то ни было в этом городе. В такой момент я счастливо цеплялся за свои ощущения и повторял про себя: «Вот бы запомнить, вот бы запомнить, вот бы запомнить!» – чтобы момент и вправду остался кадром где-то в хранилище памяти.

Спустившись с моста, автобус распахивал двери на первой остановке, и выходили мы с Ваней, на следующей Лёха, потом Грач с Родей, через несколько остановок Саня, потом Захар. Мы жили не так уж и близко, но по меркам огромного города были соседями.

Первым вопросом, который вы бы услышали при знакомстве с московскими ребятами: «ты с какого района?» – будто это могло объяснить, что за человек стоит перед тобой.

Дальше следовали обсуждения (в духе: «о, бывал там однажды») и выяснение того, есть ли общие знакомые или какие-то объединяющие вас места. Как правило, зацепка всегда находилась, и дальше разговор шёл намного свободнее...

Сейчас, когда границы мира значительно раздвинулись, всё это деление по районам кажется таким смешным, но тогда территориальная принадлежность была границей братства, нерушимого союза и объединяющей людей силой...

Сухарь

Лето приближалось к своей печальной серединной отметине. Некогда пышущая свежестью листва потемнела и покрылась слоем пыли. Вечера стали особенно душными и начались уже заметно раньше июньских, а утро всегда наступало стремительно, за считанные минуты отняв у земли остатки ночной прохлады; оно вываливало на московские улицы всю мощь зноя, и лишь надежда на грозу ободряла сердца горожан.

В один из только что начавшихся дней мы с Ваню по обыкновению вышли из автобуса на первой остановке после моста и у самого дома встретили абсолютно пьяного чувака, который сидел на лавочке у Ваниного подъезда. Он явно спал, зажав жестяную банку пива между коленями. Его голова была опущена вперёд, и каждый раз он резко вздрагивал, когда тело предательски накренилось к асфальту. Пробуждение было секундным. Голова вновь опала на безвольной шее и снова медленно, но верно тянула тело к земле.

«О, это ж Глеб! – весело сказал Ваню, заметив парня ещё издали, – эй, бухарик, здорово!» Чувак встрепенулся и так резко обернулся назад, что чуть было не завалился боком на землю.

– Ты чё? Меня ждёшь? – с ещё большим весельем в голосе поинтересовался Ваня.

– Не-е-е, с чего ты взя-я-ял? – спросил парниша, по-дурацки растягивая гласные, как делает всякий пьяный, изо всех сил пытающийся казаться трезвым.

– Ну! Ты ж у моего подъезда сидишь, дол***б! – засмеялся Ваню.

– У твое-е-его-о-о?

Экая неожиданность. Походу он был не в курсе, где находится.

– Ну да, твой дом – следующий! – веселясь, сообщил Ваню. – Чё, опять бухаешь?

– Я? Да не, я так, чуть-чуть пивка дёрнул с пацанами после работы...

– Ага, пивка, ну-ну, – Ваню пихнул меня под бок локтем, кивая на парня, и заржал в голос.

Глеб всеми силами пытался понять, над чем мы смеёмся. Он был в светлых парусиновых брюках, покрытых разводами от пролитого на ноги алкоголя, с грязными коленками, свидетельствующими о частых падениях, грязными волосами, прилипшими ко лбу, и чёрной гря-

зью под ногтями. Губы блестели от слюны, а глаза бегали, пытаясь зацепиться хоть за какой-то предмет. В общем, всё в нём было неприятно, включая мерзкий запах перегара и пота.

Он встал, покачиваясь, и стоял так с минуту, упёршись взглядом в помойку у скамейки. Мы, с застывшим на губах смехом, наблюдали за ним. Минута эта, видимо, показалась ему секундой, в течение которой он то ли собирался с мыслями, пытаясь разродиться хоть каким-то внятным словом, то ли выжидал от нас предложения продолжить веселье. Потом, пошатнувшись, резко протянул руку попрощаться и, попрощавшись очень неуверенным, едва ощутимым рукопожатием с каждым из нас, побрёл к своему дому, заплетаясь в ногах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.